



НАСТОЯЩАЯ МАГИЯ СЛОВА

*В. В. Розанов в литературе
русского зарубежья*



Редакционная коллегия:

Н. Н. Скотов – председатель
А. И. Михайлов – научный секретарь
А. Н. Николюкин
С. А. Коваленко
В. А. Фатеев



2007

Санкт-Петербург

Росток

НАСТОЯЩАЯ МАГИЯ СЛОВА

*В. В. Розанов в литературе
русского зарубежья*

2007

Санкт-Петербург

Росток

ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8
УДК 821.161.1
Н32

Составление, предисловие и комментарии
А. Н. Николюкина

Н32 **«Настоящая магия слова»** : В. В. Розанов в литературе русского зарубежья : [сост., предисловие, коммент. А. Н. Николюкина]. — СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2007. — 216 с.
«Каталогизация перед публикацией», РНБ

Русские эмигранты увезли с собой книги В. В. Розанова (1856—1919), наследие которого стало гораздо известнее за рубежом, чем в советской России, где на сочинения великого писателя и мыслителя был наложен запрет.

В настоящем издании впервые печатаются издававшиеся только за рубежом книги о Розанове М. Курдюмова и М. Спасовского, статьи П. Пильского, В. Ховина, а также известные воспоминания о Розанове З. Гиппиус, Н. Бердяева, А. Бенуа и др.

ISBN 978-5-94668-043-1

ISBN 978-5-94668-043-1



9785946 680431

© Николюкин А. Н., составление, предисловие, комментарии, 2007
© ООО «Издательство «Росток», 2007

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ И ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ



Интерес к творческому наследию Василия Васильевича Розанова (1856—1919) сохранился в русской эмиграции благодаря его друзьям и недругам, окружавшим писателя при жизни. З. Н. Гиппиус, А. М. Ремизов, Л. Шестов, Н. А. Бердяев продолжали писать о нем, как писали до эмиграции. Смысл розановских мыслей о России раскрывался еще полнее. Русская эмиграция «первой волны» на себе испытала Апокалипсис нашего времени, о котором пророчествовал Розанов. Хотя резких выпадов против писателя, испытывавшего голод и холод в первые годы революции и вскоре умершего, уже не было, явно ощущалось разделение критиков на друзей его таланта и тех, для кого он оставался неприемлем.

Самый проникновенный очерк жизни и творчества Розанова принадлежит Зинаиде Гиппиус в ее книге «Живые лица» (Прага, 1925). Она почувствовала главное в натуре Розанова — гениальное умение сказать так, как никем не говорилось о важнейших и самых обыденных вещах. Зная его многие годы, работая с ним в редакции журнала «Новый Путь» (1903—1904 гг.), она создала достоверный образ великого писателя. Гиппиус считала, что он был до такой степени не как все, что его скорее можно назвать «явлением», нежели человеком. Она считала, что прилагать к Розанову общечеловеческие мерки по меньшей мере неразумно.

В последние годы жизни Розанова его дружеские отношения с Д. С. Мережковским и его женой Гиппиус обострились и перешли во вражду. В январе 1914 г. Мережковский был одним из инициаторов изгнания Розанова из Религиозно-философского общества. Тем не менее после смерти Розанова Мережковские продолжали высоко ценить его талант. Гиппиус неоднократно писала о Розанове в газетах русской эмиграции. 10 апреля 1928 г. в парижском литературном обществе «Зеленая Лампа» она говорила: «Из истории русской мысли Розанова не вы-

кинешь, как не выкинешь Вл. Соловьева или Толстого. <...> Слишком он сложен, махров, о нем десяти книг мало. Существо гениальное, с умом и душой прозорливыми до крылатости, и — человек из слабых слабый, тоже почти гениально. Какой-то сноп противоречий. Его почти нельзя и судить человеческим судом. Осудишь — и чувствуешь: нет, не прав. Восхвалишь — опять не то. Пусть уж его судят не здесь, не на земле... если он и там не попросится, чтобы "без суда пропустили"...» (Гиппиус З. Н. Чего не было и что было: Неизвестная проза 1926–1930 годов. СПб., 2002. С. 391).

Гиппиус писала о Розанове в эмигрантских газетах «Последние Новости» (1925. 30 июля), «Возрождение» (1928. 11 апреля), «Сегодня» (1932. 14 февраля), в парижском журнале «Новый Корабль» (1928. № 4). Она обращалась к современникам не только в зарубежье, но и в России: «Если Розанов ничего не решил ни о христианстве, ни о еврействе, ни о поле, — он, страстной внимательностью своей, углублениями, расширил и облегчил нам пути к дальнейшим, новым, пониманиям этих вопросов. От наследства Розанова отказываться нельзя, как бы мы к нему самому, к человеку — Розанову, ни относились. Надо, конечно, этим наследством пользоваться умеючи... Но сумеем мы или не сумеем — это уже зависит от нас» (Там же. С. 398).

Оценки Розанова в зарубежье были весьма различными. Критик В. Н. Ильин назвал его «единственным по-настоящему удавшимся футуристом», «удавшимся Пикассо русской литературы и русской философии...» (Ильин В. Н. Эссе о русской культуре. СПб., 1997. С. 175). Д. П. Мирский, определяя место Розанова в истории русской литературы, сказал: «Русский гений не измерить, не принимая в расчет Розанова» (Мирский Д. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Лондон, 1992. С. 656). С таким же мерилom подходил к Розанову его друг А. Ремизов в своей книге «Кукха: Розанова письма» (Берлин, 1923), где приводятся подлинные записи Розанова.

Н. Тэффи, вспоминая, как она вместе с Розановым посетила Григория Распутина, писала: «Розанов вообще с каждым человеком эротические темы считал за любопытнейшие, поэтому я вполне поняла его особый острый интерес к такому разговору с Распутиным» (Возрождение. 1930. 16 марта).

Религиозно-философскую интерпретацию Розанова дал В. В. Зеньковский сначала в своей книге «Русские мыслители и Европа» (Париж, 1926), а затем в «Истории русской философии» (Париж, 1950). Для него во многом была неприемлема трактовка христианства, церкви и Евангелия у Розанова, о котором Зеньковский писал: «Он доходит до противопоставления откровения Бога Отца и Бога Сына, в ряде тончайших наблюдений развивает это противопоставление до существенной, а не только исторической непримиримости. Быть может, самое острое и жуткое свое выражение нашло это отталкивание от Христа в статье "Об Иисусе сладчайшем". Каким-то Иудиным поцелуем веет от этой статьи, — в

ее малой правде скрыта глубочайшая неправда и злостная клевета. Розанов уверяет нас, что в христианстве — "мир прогорк", что от него на весь мир легла какая-то тень, от которой блекнут краски, стихает творческое движение жизни, вянут ее цветы; это "лунное" христианство, как его воспринимал Розанов, признавалось им историческим раскрытием, самой сутью Нового Завета, — и как раз здесь Розанов и ощутил антиномию Ветхого и Нового Заветов» (Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 104).

Журнал «Версты» напечатал в 1927 г. (№ 2) розановский «Апокалипсис нашего времени» с предисловием П. Сувчинского. Об этой книге Розанова, по словам Г. Адамовича, в зарубежье мало кто слышал: «Начинаешь читать "Апокалипсис" с любопытством. Очень скоро любопытство сменяется увлечением, растущим с каждой строчкой. Не могу представить себе, чтобы кто-нибудь мог оторваться от этих пламенных страниц, не дочитав их, не заразившись их *страстью* и грустью». Однако далее Адамович заявляет, что он как бы «перерос» Розанова с его интимной откровенностью: «Были годы, когда для меня не существовало другого писателя, другого ума, другого круга мыслей, даже другого стиля. Потом настало медленное охлаждение, и, когда я пытаюсь беспристрастно разобраться в причинах этого охлаждения, мне думается, что есть в нем и розановская вина. Розанов, в конце концов, все-таки — гениальный болтун, писатель без тайны, без божественного дара умолчания, сразу вываливающий все, что знает и думает. В таких писателей можно влюбиться, но им трудно оставаться верными. Все договорено, все объяснено, вся душа обнаружена, — и в конце концов становится скучно <...> Розановский стиль есть действительно чудо. Но чего достиг он этим чудом? Повторяю: в конце концов только скуки» (Адамович Г. В. Собр. соч. Литературные беседы. СПб., 1998. Кн. 2. С. 143, 144).

И все же Адамович считает, что «Апокалипсис нашего времени» — «самое замечательное из всего, что написано Розановым за последние десять лет его жизни. Он много глубже, напряженнее, серьезнее, чем "Опавшие листья"» (Там же. С. 145). Вечными темами Розанова критик считает Христа и еврейство. «Для меня нет сомнений, что по-настоящему Розанов только это и любил в мире: Христа и евреев. Нельзя столько разглядеть, не любя, нельзя столько понять, не любя. И перед Христом, и перед еврейством Розанов был «ужасно грешен». Некоторые читатели усмехнутся, вероятно, прочтя, что «Розанов любил евреев». Репутация его ведь общеизвестна: крайний юдофоб» (Там же. С. 146). Именно против такой «репутации» и направлена статья Адамовича, появившаяся в парижском «Звене» в 1927 г.

Однако критический настрой Адамовича по отношению к Розанову с годами возрастал. В статье о Л. Толстом (1928 г.) он с раздражением писал: «Розанов, которого из небытия пытаются теперь возвести в нашего национального гения, Розанов, со всеми открытиями, догадками и «озарениями», — как его писания жалко-суетливы рядом с Толстым, как

незначительны в конечном счете» (Адамович Г. В. Собр. соч. Литературные заметки. СПб., 2002. Кн. 1. С. 62).

Адамович приводит слова Л. Шестова о том, что из русских писателей один только Розанов «умеет произносить имя Божье». И в то же время Л. Шестов в статье о Розанове в журнале «Путь» (1930. № 22) представляет его борцом против христианства: «Его несравненное литературное дарование было в его руках только оружием для борьбы с вечным и страшным врагом, притом с таким врагом, с которым примирение, компромисс, даже временное перемирие, невозможны. Кто не с ним, тот против него... Этого врага Розанов видел в христианстве. Или вернее: этого врага Розанов называл христианством» (С. 97). Вместе с тем «Розанов любил Бога, Розанов искал Бога, но того горчичного зерна веры, за которое людям обещано божественное “не будет для вас ничего невозможного”, он в себе не находил и правдиво об этом рассказал. И правдивый рассказ об умершем Боге больше даст людям, чем притворное исповедание ничего не говорящих душе истин. Недаром Лютер сказал: иной раз проклятия и богохульство слаще звучат в ушах Господа, чем самые торжественные аллилуйя» (С. 103).

О двух темах творчества Розанова — христианстве и юдаизме — писал в 1928 г. К. В. Мочульский: «Кровно связанный с православием (“Около церковных стен”) и, как тип сознания, немыслимый вне христианства, Розанов, веруя и терзаясь, жестоко борется с Христом (начиная с “Темного Лика” и “Людей лунного света” и вплоть до “Апокалипсиса нашего времени”). “Грех” христианства, “безлюбного и бесполого”, покрывшего своей страшной аскетической тенью все зачатия и роды земли, его личный грех. Он сам, Розанов, — “весь дух”, обремененный сознанием вины, изгнанный из безгрешного Эдема. Вторая тема — юдаизм — великий соблазн, мука-ненависть и любовь — одновременно. “Любящий” Отец — бог Израиля — противопоставлен “безлюбому” Сыну, “благоуханная”, земная “Песнь Песней” — сухим, моральным притчам Евангелия» (В. В. Розанов: Pro et contra. СПб., 1995. Кн. II. С. 392).

Г. П. Федотов в статье о переиздании в Берлине (1929 г.) первого номера «Опавших листьев» писал, что это «самое зрелое из всего, что написал Розанов, — осенняя жатва его жизни, уже тронутой дыханием смерти. В предчувствии гибели, но все еще отрочески влюбленный в жизнь, в мельчайшие ее явления, Розанов достигает предельной, метафизической зоркости. И как удивительно — для многих неожиданно, — что эта розановская зоркость окутывается зоркостью любви» (Там же. С. 393). Эта статья Федотова известна в розановедении еще и тем, что, цитируя известные слова Розанова («Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы должны ее любить именно, когда она слаба, мала, унижена. <...> Когда она наконец умрет и, обглоданная евреями, будет являть одни кости — тот будет “русский”, кто будет плакать около этого остова...»), он был вынужден в журнале Н. А. Оцуца «Числа», где печаталась статья, пропустить слова «обглоданная евреями».

С церковно-догматических позиций подошел к наследию Розанова богослов Г. В. Флоровский, изложивший в книге «Пути русского богословия» (Париж, 1937) свои сурово-осудительные взгляды на писателя. Он полагал, что «Розанов каким-то жутким образом так и не увидел христианства, так и не услышал благовестия. <...> Розанов есть психологическая загадка, очень соблазнительная и страшная. Человек, заигнотизированный плотью, потерявший себя в родовых переживаниях и пожеланиях... И оказывается, в этой загадке есть что-то типическое... Розанов производил впечатление, увлекал и завлекал. Но положительных мыслей у него не было...» (Там же. С. 397, 399).

Такое безоговорочное отрицание («слепой в религии») и непонимание художественно-эстетической значимости Розанова редко встречается в зарубежье. В столь же недоброжелательном контексте имя Розанова звучит в высказываниях И. А. Ильина. В письме к И. С. Шмелеву 11 февраля 1947 г. он относит Розанова к «волне безответственной выдумки от неверия и религиозной слепоты» (Ильин И. А. Собр. соч. Переписка двух Иванов. (1947—1950). М., 2000. С. 35).

М. А. Каллаш под псевдонимом М. Курдюмов выпустила книгу «О Розанове» (Париж, 1929), в которой заявила, что Розанова не любило и не поняло его время. Особенное внимание литературоведа привлекает художественная манера писателя: «Розанов как никто в писательстве своим *воплотился* не только с идеями и суждениями, но и с тончайшими вибрациями своей души. Весь трепет мысли и сердца и о большом, и о малом в его книгах; точно перо его само собой, как чувствительнейший прибор, отмечало все его внутренние колебания. Иногда его жутко читать: кажется, будто непрошено подслушиваешь чью-то исповедь, и не литературную "исповедь", нарочито приготовленную для печати, а интимнейший голос "к самому себе", вздох, шелест души...» (С. 5—6).

Обширные и ценные материалы из архива Розанова, его рукописи и письма представлены в книге М. М. Спасовского «В. В. Розанов в последние годы своей жизни» (Берлин, 1939; 2-е доп. изд. — Нью-Йорк, 1968). Автор как редактор-издатель петербургского литературно-художественного журнала «Вешние Воды» в 1914—1916 гг. печатал статьи Розанова под общим заглавием «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества». Суждения Спасовского по еврейскому вопросу, о «еврейских газетах и журналах, наложивших запрет на имя Розанова», вызвали критическую реплику Антона Крайнего (З. Гиппиус) в «Современных Записках» (1939. № 69), в которой, однако, не упоминается фамилия автора книги.

Вернувшись из эмиграции в советскую Россию, А. Белый в книге «Начало века» (М.; Л., 1933) создал карикатурно отталкивающий портрет «враждебного» ему Розанова, «воскресенья» которого он когда-то посещал в Петербурге. Гораздо более теплые воспоминания оставил А. Н. Бенуа в своих мемуарах, опубликованных посмертно в Лондоне в 1960—1964 гг. В начале XIX в. в кружке молодежи Розанов «притягивал

к себе многообразием и глубиной своих прозрений, а также своим непрерывным любопытством, обращенным на всевозможные предметы» (Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1990. Т. 2. С. 293).

После Второй мировой войны интерес к Розанову в русском зарубежье возрос. В 1956 г., к столетию со дня рождения писателя, Ю. П. Иваск подготовил и выпустил в Нью-Йорке со своим предисловием «Избранное» Розанова. В статье «Розанов и о. Павел Флоренский» (Вестник РСХД. 1956. № 42. С. 22–26) Иваск проводит сравнение Розанова, искавшего и находившего религию «святого пола», «святой плоти» у древних египтян и евреев, и Флоренского — «спокойного эллина», питавшегося пафосом дружбы. Они были друзьями и «великими христианскими мечтателями».

Обратившись к наследию Розанова, философ Н. М. Зернов в своей книге «Русское религиозное Возрождение XX века» (Лондон, 1963; порусски: Париж, 1974) отметил, что «страстно-религиозное мирозерцание Розанова — в корне своем языческое» (Париж, 1991. С. 196).

Давний полемист, критиковавший Розанова еще в дореволюционные годы, Н. А. Бердяев в философской автобиографии «Самопознание» (Париж, 1949) дал итоговую характеристику писателя: «В. В. Розанов — один из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни встречать. Это настоящий уникум. В нем были типические русские черты, и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского и что в нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего гениальным писателем... Читал я Розанова с наслаждением. Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе. Это настоящая магия слова. Мысли его очень теряли, когда вы их излагали своими словами» (С. 158).

А. Н. Николюкин

З. Н. Гиппиус

ЗАДУМЧИВЫЙ СТРАННИК О Розанове

Странник, только странник, везде
только странник...

Иду. Иду. Иду... Даже «несет», а не
иду. Что-то «стихийное, а не челове-
ческое».

Во мне есть чудовищное: это моя за-
думчивость.

Уединенное

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Василий Васильевич Розанов



то еще писать о Розанове?

Он сам о себе написал.

И так написал, как никто до него не мог, и после него не
сможет, потому что...

Очень много «потому что». Но вот главное: потому что он был
до такой степени не в ряду других людей, до такой степени стоял не
между ними, а около них, что его скорее можно назвать «явлением»,
нежели «человеком». И уж никак не «писателем», — что он за писа-
тель! Писанье, или, по его слову, «выговариванье», было у него про-
сто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хо-
рошо, точно и постоянно. Так Розанов писал, — «выговаривал» — все,
что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно,
пристально.

Писанье у писателя — сложный процесс. Самое удачное писанье все-таки *приблизительно*. То есть между ощущением (или мыслью) самими по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове, — всегда есть расстояние: у Розанова нет. Хорошо, плохо — но то самое оно, само движение души.

«Всякое движение души у меня сопровождается *выговариваньем*, — отмечает Розанов и прибавляет просто: — Это — инстинкт». Хотя и знает, что он не как все, но не всегда понимает, в чем дело. И, сравнивая себя с другими, то ужасается, то хочет сделать вид, что ему «наплевать». И отлично, мол, и пусть, и ничего скрывать не желаю. «Нравственность? Даже не знал никогда, через “ѣ” или через “е” это слово пишется».

Отсюда упреки в цинизме. Справедливые — и глубоко несправедливые, ибо прилагать к Розанову общечеловеческие мерки и обычные требования по меньшей степени неразумно. Он есть редкая ценность, но, чтобы увидеть это, надо переменить точку зрения. Иначе ценность явления пропадает, и Розанов делается прав, говоря:

«Я не нужен, ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен». Он, кроме своего «я», пребывал еще где-то *около* себя, на ему самому неизвестных глубинах.

Иногда чувствую чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит.

Я каменный.

А камень — чудовище...

...В задумчивости я ничего не мог делать.

И с другой стороны, все мог делать («Грех»).

Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня.

Но, конечно, соприсутствовало в Розанове и «человеческое». Он говорит и о нем с волшебным даром точности воплощения в слова. Он — явление, да, но все же человеческое явление.

Объяснять это далее — бесцельно. Розанова можно таким почувствовать, вслушиваясь в его «выговариванье», всматриваясь в его «рукописную душу». Но можно не почувствовать. И уже тогда никакие объяснения не помогут: Розанов действительно делается «не нужен».

Я буду, помня об этой, ясной для меня, розановской исключительности, говорить, однако, о нем — *человеке*, о том, каким он был, как он жил, об условиях, в каких мы встречались. Иногда буду прибегать к самому Розанову, к его записям о себе, — ведь равных по точности слов не найдешь.

Больше я ничего не могу сделать.

Жаль, нет у меня здесь ни писем его, ни ранних, ни предсмертных. И даже из книг его (воистину «рукописных», как он любил их называть) всего лишь две: «Уединенное» и I том «Опавших листьев».

2

Весной

Зеленовато-темным апрельским вечером мы возвращаемся в первый раз от Розанова по дощатым тротуарам глухой Петербургской стороны. Розанов жил тогда (в 1897? или 98?) на Павловской улице, в крошечном домике.

Только что прошел дождь, разорванные черные облака еще плыли над головой, доски и земля были влажны, и остро пахли весной едва распутившиеся тополевые листья, молодые (так остро пахнут они только в России, только на севере).

— Да... Вот весна... Весна! — сказал Философов (он был с нами у Розанова, и еще кто-то был).

Мы все думали молча о весне и потому не удивились.

— Весна. «Клейкие листочки»... А что же вы скажете о Розанове?

И заговорили о Розанове.

Решительно не помню, кто нас с ним познакомил. Может быть, молодой философ Шперк (скоро умерший). Но слышали мы о нем давно. Любопытный человек, писатель, занимается вопросом брака. Интересуется, в связи с этим вопросом (о браке и деторождении), еврейством. Бывший учитель в провинции (как Сологуб).

У себя, вечером, на Павловской улице, он показался нам действительно любопытным. Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала *интимность*. Делала каким-то... шепотным. С «вопросами» он фамильярничал, рассказывал о них «своими словами» (уж подлинно «своими», самыми близкими, точными, потому не особенно привычными. Так же, как писал).

В узенькой гостиной нам подавала чай его жена, бледная, молодая, незаметная. У нее был тогда грудной ребенок (второй, кажется). Девочка лет 8—9, падчерица Розанова, с подтянутыми гребенкой бесцветными волосами, косилась и дичилась в уголку.

Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость.

Ведь вот, и наружность, пожалуй, чиновничья, «мизерабельная» (сколько он об этой мизерабельной своей наружности говорил, пи-

сал, горевал!), — а какой это, к черту, контрольный чиновник? Просто никуда.

Не знаю, каким он был учителем (что-то рассказывал), — но, думается, тоже никуда.

3

Всегда наедине

Кажется, с 1900 года, если не раньше, Розанов сближается с литературно-эстетической средой в Петербурге. Примкнул к этой струе? Отнюдь нет. Он внутренне «несклоняемый». Но ласков, мил, интересен — и понемногу становится желанным гостем везде, особенно у так называемых «эстетов». Дружит с кружком «Мира Искусства», быстро тогда расцветшего.

И к нам заходит Розанов постоянно. Между прочим, нас соединял и молодой соловьевец Перцов, большой поклонник Розанова. Перцов — фигура довольно любопытная. Провинциал, человек упрямый, замкнутый, сдержанный (особенно замкнутый потому, может быть, что глухой), был он чуток ко всякому нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским умом. Сам как писатель довольно слабый, — преданно и понятиливо любил литературу, понимал искусство.

Как они дружили, — интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов? Непонятно, однако, дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: «Голубчик, голубчик, да что это. право! Ну, как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится, на ушко, шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом».

Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои, — не сердился, не отвечал.

С другим человеком, еще более сдержанным, каменным (если Перцов был деревянный), вышло однажды у Розанова, в редакции «Мира Искусства», не так ладно.

Постоянное «ядро» редакции, тесно сплоченный дружеский кружок, были: Дягилев, Философов, Бенуа, Бакст, Нувель и Нурок (умерший). Около них завивалось еще множество людей, близких и далеких. По средам в редакции бывали собрания, хотя и не очень людные: приглашали туда с выбором. Розанову эта «нелюдность» нравилась. Он, впрочем, везде был немножко один или с кем-нибудь «наедине», то с тем — то с другим, и не удаляясь, притом, с ним никуда: но такая уж у него была манера. Или никого не видел, или, в каждый момент, видел кого-нибудь одного и к нему обращался.

Ни малейшей угрюмости: веселый, даже шаловливый, чуть рассеянный взгляд сквозь очки, и вид — самый общительный.

В столовой «Мира Искусства», за чаем, вдруг привязался к Сологубу, с обычной каменностью молчавшему.

Между Сологубом и Розановым близости не было. Даже в расцвете розановских «воскресений», когда на Шпалерную ходили решительно все (вот уж без выбора-то!), — Сологуба я там не помню.

Но для коренной розановской интимности все были равны. И Розанов привязался к Сологубу:

— Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас — и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке!

Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно:

— А я нахожу, что вы грубы.

Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный, — груб! И однако, была тут и правда какая-то: пожалуй, и груб.

Инцидент сейчас же смазали и замяли, а Розанов, конечно, не научился интимничать с выбором: интимность была у него природная, неизлечимая, особенная — и перелестная, и противная.

4

Наименее рожденный

Вот, сидит утром в нашей маленькой столовой, в доме Мурузи, на Литейном, — трясет ногой (другую подогнул под себя) и что-то пишет на большом листе — мелко-меленько, непонятно, — если не привыкнуть к его почерку. Стараются все уместить на одной странице, не любит переворачивать.

Это он забежал с каким-то спешным делом, по Религиозно-философским собраниям, что-то нужно кому-то ответить, возразить или к докладу заседания что-то прибавить... все равно.

Сапоги у него с голенищами (рыжеватыми), с толстыми носами. Брюки широкие, серенькие в полоску. Курит все время — набивные папиросы, со слепыми концами. (По воскресеньям, за длинным чайным столом, у себя, где столько всякого народа, набивает их сам. Сидит на конце стола, спиной к окнам, и тоже подогнув ногу.)

Давно присмотрелись мы к его лицу и ничего уже в нем «мизерabelьного» не находим. Кустиками рыжевато-белокурая борода, лицо ровно-красноватое... А глаза вдруг такие живые и плутовские — и задумчивые, что становится весело.

Но Розанов все не может успокоиться и часто повторяет:

будет везде писать свое и о своем, не считаясь с окружением. В редакции его всерьез не принимали, далеко не все печатали, но иногда пользовались его способностью написать что-нибудь на данную тему вот сейчас, мгновенно, не сходя с места, — и написать прекрасно. Ну, подчеркают «розановщину», и живет.

Мы все держались в стороне от «Нового Времени». Но Розанову его «суворинство» инстинктивно прощалось: очень уж было ясно, что он не «ихний» (ничей): просто «детишкам на молочишко», чего он сам, с удовольствием, не скрывал. Детишек у него в это время было уже трое или четверо.

Так называемые розановские «вопросы», — то, что в нем главным образом жило, всегда его держало, все проявления его окрашивало, — было шире и всякого эстетизма, и уж, очевидно, шире всяких «политик». Определяется оно двумя словами, но в розановской душе оба понятия совершенно необычно сливались и жили в *единстве*. Это *Бог и пол*.

Шел ли Розанов от Бога к полу? Или от пола к Богу? Нет, Бог и пол были для него, — скажу грубо, — одной печкой, от которой он всегда танцевал. И, конечно, вопрос «о Боге» делался, благодаря этому, совсем новым, розановским. Вопрос о поле — тоже. Последний «вопрос» и вообще-то, для всех, пребывал тогда в стыдливой тени или в загоне. Как же могло яркое вынесение его на свет Божий не взбудоражить, по-разному, самые разные круги?

Пожалуй, не круги — а «кружки». Ведь и «эстетизм», и другие петербургские, едва намечавшиеся течения — были только кружки. Да в Розанове самом сидела такая «домашность», «самодельность», что трудно и вообразить его влияние на какие-нибудь «круги».

5

Духовные отцы

В область розановского интереса очень трепетно входил вопрос о «церкви». И не только потому, что жена его, духовного происхождения и вдова священника, была крепко и просто верующей православной. Нет, с вопросом о церкви Розанов был связан собственными внутренними нитями. Вопрос этот окрашивался для него в свой цвет — благодаря его отношению к христианству и Христу.

Однако мысль Религиозно-философских собраний зародилась не на Шпалерной (у Розанова), а в наших литературно-эстетических кружках. Они тогда стали раскалываться. Чистая эстетика уже не удовлетворяла. Давно велись новые споры и беседы. И захотелось эти домашние споры расширить, — стены раздвинуть.

В сущности, для петербургской интеллигенции и вопрос-то религиозный вставал впервые, был непривычен, а в связи с церковным — тем более. Мир духовенства был для нас новый, неведомый мир. Мы смеялись: ведь Невский, у Николаевского вокзала, разделен железным занавесом. Что там, за ним, на пути к Лавре? Не знаем: *terra incognita*. Но нельзя же рассуждать о церкви, не имея понятия о ее представителях. Надо постараться поднять железный занавес.

Кто-нибудь напишет впоследствии историю первых Р.-ф. собраний. Тяжелого все это стоило труда. Об открытом обществе и думать было нечего. Хоть бы добиться разрешения в частном порядке.

К мысли о Собраниях Розанов сразу отнесся очень горячо. У него в доме уже водились кое-какие священники, из простеньких. Знакомства эти пришлись кстати. Понемногу наметилась дорожка за плотный занавес.

Однако в предварительных обсуждениях плана действий Розанов мало участвовал. Никуда не годился там, где нужны были практические соображения и своего рода тактика. С ним вообще следовало быть осторожным. Он не *понимал*, органически, никакого «секрета» и невинно выбалтывал все не только жене, но даже кому попадетсЯ. (С ним, интимнейшим, меньше всего можно было интимничать.)

Поэтому ему просто говорили: вот, теперь мы идем к такому-то или туда-то, просить о том-то. Брали его с собой, и он шел, и был, по натию, очень мил и полезен.

Наконец Собрания, участвующие, были разрешены. Железный занавес поднялся. Да еще как! Председатель — еп. Сергей Финляндский, тогда ректор Духовной Академии; вице-председатель — арх. Сергей, ректор семинарии, злой, красивый монах с белыми руками в кольцах. Все это с благословения митрополита Антония и с молчаливого и выжидательного попустительства Победоносцева. Главный наш козырь был — «сближение интеллигенции с церковью». Тут очень помогло нам тщеславие пронырливого, неглупого, но грубого мужичонки Скворцова, чиновника при Победоносцеве. Миссионер, известный своей жестокостью, он, в сущности, был добродушен, и в тщеславии своем, желании попасть «в хорошее общество», — прекоmicен. Понравилась ему мысль «сближения церкви с интеллигенцией» чрезвычайно. Стал даже мечтать о превращении своего «Миссионерского Обозрения» в настоящий «журнал».

Каюсь, мы нередко потешались над ним, посылали в этот «журнал» разные письма под самыми прозрачными псевдонимами, чуть ли не героев Достоевского или Лермонтова. Невинный Скворцов не замечал и с гордостью письма печатал. На Собраниях же мы ему спуску не давали, припоминая его миссионерские похождения.

Скворцов, конечно, сделался приятелем Розанова. У Розанова закипели его «воскресения», превратились в маленькие Религиозно-философские собрания. На неделе собирались и у нас.

Странно, однако: весь этот мир «из-за железного занавеса», духовный и церковный, повлекся, припал главным образом к Розанову. Чувствовал себя уютнее с ним. А ведь Розанов считался первым «еретиком», и даже весьма опасным. Чуть ли не начались Собрания его докладом о браке и поле, самым «соблазнительным», и прения длились подряд три вечера.

А раз было следующее.

Розанов на Собраниях не только не произносил речей, но и рот редко раскрывал. Какие «речи», когда ни одного доклада своего, написанного, он не мог сам прочесть вслух. Другие читали. Ответы на возражения тоже писал заранее к следующему разу, а читал опять кто-нибудь за него.

Раз попросил он прочесть такое возражение, странички 2–3, молодого приват-доцента Духовной Академии — А. Б. Карташева. Карташев тогда впервые появился в Петербурге — из-за «железного занавеса» у Николаевского вокзала, из иного мира, вместе со всей «духовной» молодежью. Кстати сказать: в этих «выходцах» многое изумляло нас, — такие они были иные по быту, по культуре. Но изумительнее всего оказался их упрямый... рационализм. Вот тебе и «духовная» молодежь!

Очень помню, как однажды мы с Карташевым сидели, по дежурству, у дверей залы Собраний — принимали запись входящих членов. Заседание началось, двери заперли. Мы, около полутемного столика, тихо разговаривали. Острый профиль молодого Карташева напоминал в те времена профиль Гоголя в последние годы жизни.

— Верю ли? Если б верить, как в детстве... Но нет... рацию... рацию... — шептал он, приседая.

Так вот, Карташев, на просьбу Розанова прочесть вслух его странички возражения (весьма невинные), согласился. Прочел. На другой же день был призван к митрополиту Антонию и получил от этого сравнительно мягкого и «либерального» иерарха самый грубый выговор. Хотел было оправдаться, — я, мол, только «одолжил Розанову свой голос», но его не дослушали:

— Чтобы — впредь — это — не было.

И Карташев ушел, если не ошпаренный — то лишь потому, что привык: держали их там в строгости и в повиновении удивительном.

Да, опасным «еретиком» был Розанов в глазах высшей православной иерархии. Почему же все-таки духовенство, церковники, сближались с ним как-то легче, проще, чем с кем бы то ни было из интеллигентов, ходили к нему охотнее, держали себя по-приятельски?

6 Усердный еретик

«Православие» видело «еретичество» Розанова и просто «безбожием» не затруднялось его называть. В глубины не смотрело.

Что ему, что этот «безбожник» говорит:

...Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего я... слишком мог бы... Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое «теплое» для меня.

С Богом никогда не скучно и не холодно.

В конце концов Бог моя жизнь.

Я только живу для Него, через Него. Вне Бога — меня нет.

И еще:

Выньте из самого существа мира молитву, сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее, — чтобы я этого не мог; и я с выпученными глазами и с ужасным воем выбежал бы из дому и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить... Без молитвы — безумие и ужас.

Но это все понимается, когда плачется... А кто не плачет, не плакал — как ему это объяснить?

Или еще:

Боже, Боже, зачем Ты забыл меня? Разве Ты не знаешь, что всякий раз, как Ты забываешь меня, — я теряюсь?

Самое «еретичество» Розанова исходило из его религиозной любви к Божьему миру, из религиозного его вкуса к миру, ко всей плоти. Но кто это понимал из православных, как мог понять, да и на что ему было нужно? Лишь редкие чувствовали. Например, исключительной глубины и прелести человек — священник Устьинский (он жил в Новгороде, изредка приезжал в Петербург), да, может быть, Тернавцев, тогда молодой и независимый. Итальянская кровь давала ему большую силу жизни. Весь он был неистовый, бурный и казался очень талантливым.

Ну, а другие «церковники» — притествовали с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу, вот почему: он, любя всякую плоть, обожал и плоть церкви, православие, самый его быт, все обыряды и обычаи. Со вкусом он исполняет их, зовет в дом чудотворную икону и после молебна как-то пролезает под ней (по старому обычаю). Все делает с усердием и с умилением.

За это-то усердие и «душевность» Розанова к нему и благоволили отцы. А «еретичество»... да, конечно, однако ничего: только бы по-строже хранить от него себя и овец своих.

7 Собрания

В первый же год Р.-ф. собрания стали быстро разрастаться, хотя попасть в число членов было нелегко, а «гости» вовсе не допускались.

Неглубокая зала Географического общества, с громадной и страшной статуей Будды в углу (ее в вечера Собраний чем-то закутывали от «соблазна»), никогда, вероятно, не видела такого смешения «языков», если не племен. Тут и архиереи, — вплоть до мохнатого льва Иннокентия, и архимандриты, до аскетического Феофана (впоследствии содействовавшего внедрению Распутина во дворец), и до высокого, грубого молодца в поярковой шляпе — Антонина (теперешнего «живца»). Тут же и эстеты, весь «Мир Искусства» до Дягилева. Студенты светские, студенты духовные, дамы всяких возрастов и, наконец, самые заправские интеллигенты, державшиеся с опаской, но с любопытством.

Во время перерыва вся эта толпа гудела в музее и толкалась в крошечной комнате сзади, где подавали чай.

Розанов непременно прятался в уголке, и непременно там кто-нибудь один его заслонял, с кем он интимничал.

Секретарем Собраний был рекомендованный Тернавцевым приятель его — Ефим Е.

— Ефим — пес, — говорил на своем образном языке, с хохотом, «кудрявый Валентин». — Лучше и не выдумать секретаря. Это, я вам скажу, у-ди-ви-тельный человек. Ни в Бога, ни в черта не верит. Либерал-шестидесятник. Пес и пес, конечно, но и ловкий!

Действительно, Ефим оказался полезен. Двери Собраний сторожил, как настоящий «пес». Следил за отчетами. И сразу сдружился с «попами». Особенно же с архимандритом Антонином. Вместе шатались они по трактирам, где Ефим непременно заказывал себе кушанье постное, Антонин же непременно скоромное; вместе забегали к нам; если Антонин «опоздался» в городе, то у Ефима и заночевывал.

С лаврской духовной цензурой Ефим тоже завел дружбу, что было ценно, особенно когда начался наш журнал «Новый Путь».

Но о журнале потом. Здесь отмечаю лишь это любопытное приятельство «ни в Бога, ни в черта не верующего» нашего секретаря с духовными отцами. Насчет «либерализма» — вряд ли заветы 60-х го-

дов были в нем особенно крепки. Он через несколько лет поступил, по рекомендации Розанова, в «Новое Время», где прижился и, благодаря знанию языков, до конца оставался заведующим иностранным отделом.

Не могу не вспомнить здесь о «предании» более свежем, но «которому верится с трудом». Ведь в Англию, во время войны, ездила, в виде «представителей русской печати», такая неподобная тройка: Чуковский, затем этот самый бывший «пес» из «Нового Времени» и купленный ныне, «для сраму», большевиками — Ал. Толстой. Жаль, что Василевского Не-Букву не прихватили. Была бы полнота «представительства».

8

Тяжелая старуха

Летом 1902 года мы ездили за Волгу, в г. Семенов. Оттуда, с двумя нижегородскими священниками, — на раскольничьи собеседования за Керженец, к Светлому озеру («Китеж-град»).

На возвратном пути мы зашли, в Нижнем, с прощальным визитом к одному из наших спутников, о. Николаю, громкому, шумному, буйному батюшке, до хрипоты спорившему на озере со староверами.

Провинциальные «духовные» дамы скромны и стесняются «столичных гостей». Редко где попадая не убегала от нас и не пряталась, высылая чай в «гостиную». Молодежь поразвязнее, и у отца Николая, после бегства матушки с роем еще каких-то женщин, в гостинной осталась занимать нас молоденькая поповна.

О. Николай, еще хрипя, разглагольствовал о чудотворных иконах, а поповна показывала мне альбомы.

Показывала и объясняла: вот это тетенька... Вот это о. Никодим, дядя. Вот это знакомый наш, из Костромы...

Вижу большую фотографию: сидит на стуле, по-старинному прямо, в очень пышном платье, сборки кругом раскинутом, седая, совсем белая, толстая старуха. В плоеном чепчике, губы сжаты, злыми глазами смотрит на нас.

— А это кто? — спрашиваю.

— А это наша знакомая. Жена одного писателя петербургского. Ее фамилия Розанова.

— Как Розанова? Какая жена Розанова? Василия Васильевича?

— Ну да, жена Василия Васильевича. Ее сейчас в городе нет. Она в Крыму давно. А домик ее наискосок от нашего. С балкона видать.

— Покажите мне.

Выходим с поповной на угловой балкончик. Внизу булочная, и громадный золотой крендель тихо поскрипывает над железными

переилами балкона, слегка заслоняя теплую, пыльную Варварскую улицу, вымощенную круглыми, как арбузы, булыжниками.

— Видите, прямо переулок идет, так вот слева второй домик, серенький, это и есть Розановой дом, где она жила.

— А фотография ее... давно снята? Она такая старая?

— Да, она уж совсем старая. Ну, ведь, и он, кажется, не молодой.

Хочу возразить, что Розанов «против нее — робенок», как говорят за Волгой, но поповна продолжает:

— Она очень злая. Такая злая, прямо ужас. Ни с кем не может жить, и с мужем давно не живет. Взяла себе, наконец, воспитанницу. Ну, хорошо. Так можете себе представить, воспитанница утопилась. Страшный характер.

Мы вернулись в гостиную. И долго еще, охотно, рассказывает мне про «страшный характер» поповна, пока я вглядываюсь в портрет развалины с глазами сумасшедше-злыми.

Никогда Розанов не сказал об этой своей жене слова с горечью, осуждением или возмущением. В полноте трагическую историю его первого брака мы знали от друзей, от Тернавцева и других. Впрочем, и сам Розанов не скрывал ничего и нерядко, подолгу, рассказывал нам о жизни с первой женой. Но ни разу со злобой, ни в то время — ни потом, в «Уединенном». А уж, кажется, мог бы. Ведь она не только, живя с ним, истерзала его, она и на всю последующую жизнь наложила свою злую лапу.

Для второй жены его, Варвары Дмитриевны, глубоко православной, брак был таинством религиозным. И то, что она «просто живет с женатым человеком», вечно мучило ее, как грех. Но злая старуха ни за что не давала развода. Дошло до того, что к ней, во время болезни Варвары Дмитриевны, ездил Тернавцев, в Крым, надеясь уломать. Потом рассказывал, со вкусом ругаясь, как он ни с чем отъехал. Чувствуя свою силу, хитрая и лукавая старуха с наглостью отвечала ему, поджав губы: «Что Бог сочетал, того человек не разлучает».

— Дьявол, а не Бог сочетал восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой! — возмущался Тернавцев. — Да с какой бабой! Подумайте! Любовница Достоевского! И того она в свое время доняла. Это еще при первой жене его было. Жена умерла, она, было, думала тут на себе его женить, да уж нет, дудки, он и след свой замел. Так она и просидела, Василию Васильевичу на горе.

Розанов мне шептал:

— Знаете, у меня от того времени одно осталось. После обеда я отдыхал всегда, а потом встану — и непременно лицо водой сполоснуть, умываюсь. И так и осталось — умываюсь, и вода холодная со слезами теплыми на лице, вместе их чувствую. Всегда так и помнится.

— Да почему же вы не бросили ее, Василий Васильевич?

— Ну-ну, как же бросить? Я не бросал ее. Всегда чувство благодарности... Ведь я был мальчишка...

Рассказывал о неистовстве ее ревности. Подстерегала его на улице. И когда, раз, он случайно вышел вместе с какой-то учительницей, тут же как бешеная дала ей пощечину.

Но это что, сумасшедшая ревность. Дело нередкое. Любовница Достоевского, законная жена Розанова, была посложнее.

Ревность шла, конечно, не от любви к невзрачному учитишке, которого она не понимала и который ее не удовлетворял. Заставлять всякий день водой со слезами умыться — приятно, слов нет. Но жизнь этим не наполнишь. Старая, она делалась все похотливее и в Москве все чаще засматривалась на студентов, товарищей молодого, но надоевшего мужа.

Кое с кем дело удавалось, а с одним, наиболее Розанову близким, — сорвалось. Авансы были отвергнуты.

Совершенно неожиданно студента этого арестовали. Розанов очень любил его. Хлопотать? Поди-ка сунься в те времена, да и кто бы послушал Розанова? Однако добился свиданья. Шел радовался — и что же? Друг не подал руки. Не стал и разговаривать.

Дома загадка объяснилась: жена не стесняясь рассказала, что это она, от имени самого Розанова, написала в полицейское управление донос на его друга.

Быть может, я передаю неточно какие-нибудь подробности, но не в них дело. Эту характерную историю сам Розанов мне не рассказывал. Он только, при упоминании о ней, сказал:

— Да, я так плакал...

— И все-таки не бросили ее? Как же вы, наконец, разошлись?

— Она сама уехала от меня. Ну, тут я отдохнул. И уж когда она опять захотела вернуться — я уж ни за что, нет. В другой город переехал, только бы она не приезжала.

И все, повторяю, без малейшего негодования, без осуждения или жалобы. С человеческой точки зрения — есть противное что-то в этом все терпящем, только плачущем муже. Но не будем смотреть на Розанова по-человечески. И каким необычным и прелестным покажется нам тогда розановское отношение к «жене» как к чему-то раз навсегда святому и непотрясаемому. «Жена» — этим все сказано, а уж какая — второй вопрос.

И ни малейшей в этом «добродетели», — таков уж Розанов органически. У него и верность, и любовь тоже свои, особенные, розановские. О верности его мне еще придется говорить.

Когда приподнялся «железный занавес», стали архиереи приезжать «в Петербург», на Соборы, — стали и мы изредка заглядывать в «иной мир», в Лавру. Бывали (всегда скопом) у молодого, скромного, широколицего Сергея Финляндского, ректора Академии (какое-нибудь предварительное обсуждение доклада), и у митрополита Антония.

У Антония Мережковский читал «Гоголя и о. Матфея», читал там раз даже Минский, чуть ли не свою «Мистическую розу на груди церкви». Он тогда (для чего?) очень кокетничал с церковью, впрочем, без всякого успеха.

Розанов, конечно, не читал, как нигде не читал ничего, и, конечно, всегда присутствовал.

У Сергея было приятно: большие, пустые залы с таким полом скользким и светлым — хоть смотрись в него, с рядами архиерейских портретов по стенам. Чай пили в столовой, за длинным столом. Вкусный чай: сколько сортов всяких варений, а подавали тоненькие черненькие послушники.

В митрополичьих покоях не то: официальная пышность дворца, лакеи, а варенье засахаренное.

Мне частенько Розанов, если мы сидели рядом, шептал свои наблюдения: «Заметьте, заметьте...» Он видел всякую мелочь.

Раз мы вышли, уже часов в 11, поздно, из Лавры и за оградой ее заблудились. Зима, но легкая оттепель. Необозримые снежные пустыри, окружающие Лавру, скользки, точно ласковые, а ухабы по чуть видной дороге — как горы. Нас человек шесть, но идем не вместе, а парами, друг за друга держимся. И все крутимся по ледяной пустыне, и все тянется белая высокая ограда, — не знаем, куда повернуть.

Я с Розановым. Он не смущается, куда-нибудь выйдем. Без конца говорит — о своем. Он неиссякаем «наедине». С кем наедине — ему решительно все равно. Никогда не говорит «речи», говорит «беседно», вопрошательно, но ответов не ждет и не услышал бы их. Даже вдвоем — он наедине с собою.

...Странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении *пустоты около себя — пустоты, безмолвия и небытия вокруг и везде*, — что я едва знаю, едва верю, едва допускаю, что мне «современничают» другие люди...

В эту минуту мы с ним, однако, «современничали» в том, что оба одинаково скользили, буквально на каждом втором шагу. И он вдруг это заметил.

Я смеюсь:

— Вы меня держите, Василий Васильевич, или я вас?

— Заметьте! Мы оба скользим! Оба! И не падаем. Почему не падаем? Да потому, что мы скользим *не в одну и ту же минуту*, а в разные. Вы скользите, когда я стою, а когда я — вы не скользите, и я держусь за вас...

— Ну, вот видите. А если б мы шли отдельно, так уж давно оба валялись бы в снегу.

— Да, да, удивительно... В разные минуты...

Но тут, занявшись этим соображением, он навел меня на такую кучу снега, что, не схвати нас кто-то третий, шедший близко сзади, и мы бы полетели вниз — и в одну и ту же минуту.

10 О любви

Всю жизнь Розанова мучали евреи. Всю жизнь он ходил вокруг да около них как замороженный прилипал к ним — отлипал от них, притягивался — отталкивался.

Не понимать, почему это так, может лишь тот, кто безнадежно не понимает Розанова.

Не забудем: Розанов жил только *Богом* и — миром, плотью его, полом.

Знаете ли вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, мимо такого нужно просто *пройти*. Обойти его молчанием.

И тотчас же далее:

Связь пола с Богом — бóльшая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом.

Евреи, в религии которых для Розанова так ощутительна была связь Бога с полом, не могли не влечь его к себе. Это притяжение — да поймут меня те, кто могут, — еще усугублялось острым и таинственным ощущением их чуждости. Розанов был не только архиериец, но архирусский, весь, сплошь, до «русопятства», до «свиньи-матушки» (его любовнейшая статья о России). В нем жилки не было нерусской. Без выбора понес он все, хорошее и худое, — русское. И в отношении его к евреям входил элемент «полярности», т. е. опять элемент «пола», притяжение к «инакости».

Он был к евреям «страстен» и, конечно, пристрастен: он к ним «вожделел».

Влюбленный, однажды, полушутя, в еврейку, говорил мне:
— Вот рука... а кровь у нее там какая? Вдруг — голубая? Лиловень-
кая, может быть? Ну, я знаю, что красная. А все-таки не такая, как у
наших...

Непривычные или грубодушные люди часто возмущались розановской «несерьезностью», сплетением пустяков с важным и его... как бы «гряздой». Ну, конечно! И уж если на то пошло, разве выно-
симо вот это само: «связь Бога с полом»? Разве не «грязь» и «пол»-то
весь? В крайнем случае — «неприличие», и позволительно говорить
об этом лишь научным, серьезным языком, с видом профессора. Ро-
зановские «мелочи» казались «игривостью» и нечистоплотностью.

Но для Розанова не было никаких мелочей: всякая связывалась с
глубочайшим и важнейшим. Еврейская «миква», еврейский религи-
озный обычай, для внешних неважный и непривлекательный, — его
умиляла и трогала. Его потрясал всякий знак «святости» пола у евре-
ев. А с общим убеждением, в кровь и плоть вошедшим, что «пол —
грязь», — он главным образом и боролся.

Вот тут узел его отношений к христианству и ко Христу. Христос?
Розанов и к Нему был страстен, как к еврейству. Только все тут было
диаметрально противоположно. Христос — Он свой, родной, близ-
кий. И для Розанова было так, точно вот этот живой, любимый, его
чем-то ужасно и несправедливо обидел, что-то отнял у него и у всех
людей, и это что-то — весь мир, его светлость и теплоту. Выгнал из
дома в стужу: «Будь совершен, иди и не оглядывайся, отрекись от от-
ца, матери, жены и детей...»

Розанов органически боялся *холода*, любил теплое, греющее.

«С Богом я всегда. С Богом мне теплее всего» — и вдруг — иди
в холод, оторвись, отрекись, прокляни... Откуда это? Он не устал
бранить монашество и монахов, но, в сущности, смотрел дальше них,
не думал, что «это они сделали», главного обидчика видел в Христе.
Постоянно нес упрек Ему в душе — упрек и страх перед собственной
дерзостью.

У нас, вечером, за столом, помню его торопливые слова:

— Ну, что там, ну, ведь, не могу же я думать, нельзя же думать,
что Христос был просто человек... А вот, что Он... Господи, прости!
(робко перекрестился поспешным крестиком), что Он, может быть,
Денница... Спавший с неба, как молния...

Розанов, однако, гораздо более «трусил божеского наказания» за
нападки на церковь, нежели за восстания против первопричины —
Христа. Почему? Это просто. В христорчестве его было столько
лигной любви ко Христу, что она властно побеждала именно страх
и превращала трусость нашалившего ребенка во что-то совсем дру-
гое.

Вот, например: тяжелая болезнь жены. Оперированная, она лежала в клинике. Розанов в это время ночевал раз у Тернавцева. И всю ночь, по словам Тернавцева, не спал, плакал и, беспрестанно вставая, молился перед иконами. Всю ночь вслух «кался», что не был достаточно нежен, справедлив — к церкви, к духовенству. Не покорялся смиренно, возражал, протестовал... Вот Бог и наказывает... и он, как мальчик, шепчет строгому церковному Богу: прости, помилуй, больше не буду!

В связи с этим, в «Уединенном»:

Иду в Церковь! Иду! Иду!

И потом еще:

Как бы я мог быть не там, где наша мамочка? И я стал опять православным.

Стал ли? Это и теперь его тайна, хотя пророческие слова исполнились:

Конечно, я умру *все-таки с Церковью*... конечно, *духовенство мне все-таки всех (сословий) милее*...

Однако:

Но среди их умирая, я все-таки умру с какой-то *мукой о них*.

Это борьба с «церковью».

А вот «христоробчество». Вот одно из наиболее дерзких восстаний его — книга «Темный Лик», где он пишет (точно, сильно, разговорно, как всегда), что Христос, придя, «охолодил, заморозил» мир и сердце человека, что Христос обманщик и разрушитель. Денница, — повторяет он прикрито, т. е. Дух Темный, а не Светлый.

И что же, кается, дрожит, просит прощения? Нисколько. Выдержки из «Темного Лица» читались, при нем, на Собраниях, он составлял самые стойкие ответы на возражения. Спорил в частных беседах, защищался — Библией, Ветхим Заветом, пламенно защищался еврейством, на сторону которого всецело становился, как бы религиозно сливаясь с ним.

С одним известным поэтом, евреем, Розанов при мне чуть не подрался.

Поэт и философ, совсем не приверженный к христианству, доказывал, что в Библии нет личности и нет духа поэзии, пришедшего только с христианством. Что евреи и понятия не имели о нашем

чувстве *влюбленности* — в мир, в женщину и т. д. Надо было видеть Розанова, защищающего «Песнь песней», и любовь, и огонь еврейства.

Принялся упрекать поэта в измене еврейству. Тот ему ответил, что, во всяком случае, Розанов — больше еврей, чем он сам.

Этим спор окончился — Розанов внезапно замолчал.

Не потому, конечно, что заподозрил собеседника в атеизме. Атеистов, позитивистов он «презирал, ненавидел, боялся». Говорил: «Расстаюсь с ними *вегным расставанием*». Но собеседник — еврей, а еврей не может быть атеистом. Нет, по Розанову, антирелигиозного еврея, что бы он там про себя ни думал, ни воображал. В каждом, все равно, «Бог — насквозь». Недаром к Аврааму был зов Божий. Про себя Розанов говорил:

«Бог призвал Авраама, а я сам призвал Бога. Вот и вся разница».

И вдруг, и вдруг... словно чья-то тень — тень Распятого? — проходила между ним и евреями. Он оглядывался на нее — и пугался, но уже не феноменальным, а «ноуменальным» (любимое его слово) страхом. Вдруг — «болит душа! болит душа! болит душа!» и — потерявшись — он становится резок, почти груб... к евреям. Мне приходилось слышать его в эти минуты, но я расскажу о них его собственными словами, будет яснее.

...Как зачавкали губами и идеалист Борух, и такая милая Ревекка Ю-на, друг нашего дома, когда прочли «Темный Лик». Тут я сказал себе: «Назад! Страшись!» (мое отношение к евреям).

Они думали, что я не вижу: но я хоть и «сплю вечно», а подглядел. Борух, соскакивая с санок, так оживленно, *весело*, счастливо воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою:

— Ну, а все-таки — он лжец.

Я даже испугался. А Ревекка проговорила у Шуры в комнате: «Н-н-да... Я прочла "Темный Лик"». И такое счастье опять в губах. Точно она скушала что-то сладкое.

Таких *физиологических* (зрительно-осязательных) вещей надо увидеть, чтобы понять то, чему мы не хотим верить в книгах, в истории, в сказаниях. Действительно, есть какая-то *ненависть* между Ним и еврейством. И когда думаешь об этом — становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное: «Распни Его».

Думают ли об этом евреи? Толпа? По крайней мере, никогда не высказываются.

Любовь к Христу, личная, верная, страстная, — была куском розановской души, даже не души — всего существа его. Но была тайна для зорких глаз тайновидца: «смотрел и не видел». Порою близко шевелилась, скрытая. Тогда он тревожился, бросался в сторону евреев и своего к ним отношения. Отрекался, путался, сердил... Но жизнь

повела его «долинами смертной тени». И любовь стала прорываться подобно молнии. Чем дальше, тем чаще мгновенья прорывов.

...Тогда все объясняется... Тогда Осанна... Но *так* ли это? Впервые забрезжило в уме...

Сами собой гасли в этих молниях вспышки ненависти к евреям. Понималась любовь — по-настоящему. И забывалась опять. Может быть, потом понялась навсегда?

11

«В своем углу»

Осенью 1902 года мы начали с П. П. Перцовым журнал «Новый Путь».

Я до сих пор не понимаю, как это вышло, что мы его начали, и даже довели без долгов до 1906 года. Он точно сам начался. — естественно вышел из Р.-ф. собраний.

Денег у нас не было никаких, кроме пяти тысяч самоотверженно-го Перцова, да очень малой, внешней помощи издателя Пирожкова, и то лишь в самые первые месяцы. (Пирожков этот стал впоследствии знаменит процессами со своими жертвами, — обманутыми писателями, обманутыми бесцельно, ибо он и сам провалился.)

Перцову удалось получить разрешение на журнал, благодаря той же приманке: «сближение церкви с интеллигенцией». Журнал был вполне «светский» (в программе только упоминалось о вопросе «религиозном», «в духе Вл. Соловьева»), однако известно было, что издает его группа участников Собраний и что там предполагается помещать стенографические отчеты этих Собраний.

Положение журнала было исключительно трудное: каждая книга подлежала двойной цензурной трепке. Сначала шла к обыкновенному цензору, а затем в Лавру, к духовному. Была у нас и третья цензура, неофициальная, интеллигентская: по тем временам если эстетика и начинала кое-как завоевывать право на существование, то религия, без разбирательства, была осуждена. И нас записали в реакционеры.

Но среди всех огорчений с деньгами, да с двумя официальными цензурами, нам буквально не было времени огорчаться еще и этим. Пусть думают, что хотят.

Все мы работали и писали без гонорара. Платили только в редких случаях какому-нибудь начинающему (и очень талантливому) из немущих. Литературная молодежь, — все мои приятели, — помогала и работала, на нас глядя, радостно, как в своем деле. Молодые поэты

в ужас пришли. Всякое дело требует своей «политики», т. е. какой-то линии, считанья с моментом, с окружающими обстоятельствами и т. д. Розанов ни на что подобное не был способен. Он, действительно, «всегда спал». Во сне хоть и умел «подглядывать», чего никто не видел, но подглядывал лишь то, что находилось в круге его идей, ощущений, лишь в том, что его интересовало и касалось.

Очень любил журнал. И совершенно невинно, не замечая, мог бы погубить его, дай ему волю, начни с ним советоваться, как с равным.

И так была ужасная возня. Приносит он очередной материал — главу «Юдаизма» и «Угол», бесконечные простыни бумажные, мелко-меленько исписанные. В набор? Как бы не так. Мы не «Новое Время» и с набором должны экономничать. Без того приходится делать иногда, после светской цензуры, для духовной, — второй набор, как бы не навести «отцов» на неподобающие размышления... И вот мы с Перцовым принимаемся за чтение розановских иероглифов. Не вместе, — Перцов глух, сам читает невнятно и неохотно, — а по очереди.

Ни разу, кажется, не было, чтобы мы не наткнулись в этих писаниях на такие места, каких или цензорам нашим даже издали показать нельзя, или каких мы с Перцовым выдержать в нашем журнале не могли.

Эти места мы тщательно вычеркивали, а затем... жаловались Розанову: «Вот что делает цензура. Порядком она у вас в углу выела». Впрочем, прибавляли, для косвенного его поучения:

— Сами, голубчик, виноваты. Разве можно такое писать? Какая же это цензура выдержит?

Скажу, moreover, что мы делали выкидки лишь самые необходимые. Перцов слишком любил Розанова и понимал его ценность, чтобы позволить себе малейшее искажение его идей.

Редактируя для журнала стенографические отчеты Собраний, мы ни звука не выкидывали розановского: тут он сам за себя отвечает, пусть отвечает перед цензорами.

Сухость стенограмм порою приводила нас в отчаяние: исчезала атмосфера Собраний, приподнятая и возбужденная, не передавалось настроение публики...

Чаше всего редактировали мы эти отчеты вдвоем не с Перцовым, а с Тернавцевым.

Собрание, недавнее, было еще свежо в памяти.

— Какой вздор! — говорю я. — Она (стенографистка) недослышала. Или не поняла... Ведь тут, помните, ведь тут...

— Ну да! — кричит неистовый Валентин. — Василий Михайлович (Скворцов) сказал «совесть». А кто-то ему крикнул: «Разная бывает совесть. Бывает и сожженная совесть...» Он так и осел... Вставляйте сюда: «голос из публики»!

Валентин Тернавцев был не нашего «лагеря», но художественное чутье побеждало в нем «церковника», и мы оба увлекались, стараясь превратить казенную запись в образную картину Собрания.

— Здесь еще «голос из публики»! — орал Валентин. — Обязательно голос! Я слышал, толстуха промяукала, как ее, — секты исследует, она около меня сидела. Пишите тут — из публики!

Иногда мы посылали розановский доклад или возражение ему на просмотр, боясь ошибок в записи. А он возвращал — совершенно измененную вещь, почти новую статью. Что было делать? Звали его, брались, и он на месте, тут же, в третий раз ее переписывал.

Перцов имел привычку вдруг уезжать из Петербурга на неопределенное, довольно продолжительное время. Глухой и скрытный, он глухо исчезал, не оставляя и адреса. Знали только, что куда-нибудь в Кострому или дальше: он был волжанин, «речной человек», как он говорил.

Тогда мне приходилось тесно. «Мальчики» мои, в сомнении, откровенно признавались, что не знают, как поступить. Розанов, не обращая на меня никакого внимания, лез к Ефиму, а Ефим разлеживался, не читал первых корректур и спорил со мной из-за Брюсова, находя его недостаточно либеральным.

К счастью, Перцов уезжал не в очень горячее время, — к весне. Месяца через два возвращался, и все входило в норму.

12

Буду верен в любви

На ревнивых жен Розанову везло.

Ну, та, первая, подруга Достоевского, — вообще сумасшедшая старуха; ее и нельзя считать женой Розанова. Но настоящая, любящая и обожаемая «Варя», мать его детей, женщина скромная, благородная и простая, — тоже ревновала его ужасно.

Ревновать Розанова — безрассудно. Но чтобы понять это — надо было иметь на него особую точку зрения, не прилагать к нему обычных человеческих мерок.

Ко всем женщинам он, почти без различия, относился возбужденно-нежно, с любовным любопытством к их интимной жизни. У него — его жена, и она единственная, но эти другие — тоже чьи-то жены? И Розанов умилялся, восхищался тем, что и они жены. Имеющие детей, беременные, особенно радовали. Интересовали и девушки — будущие жены, любовницы, матери. Его влекли женщины и семейственные, — и кокетливые, все наиболее полно живущие своей женской жизнью. В розановской интимности именно с женщиной был еще оттенок особой близости: мы, мол, оба, я и ты, зна-

ем с тобой одну какую-то тайну. Розанов ведь чувствовал в себе сам много женского. «Бабьего», как он говорил. (Раз выдумал, чтобы ему позволили подписываться в журнале «Елизавета Сладкая». И огорчился, что мы не позволили.)

Человеческое в женщине не занимало его. Ту, с которой не выходит этого особого, женского интимничанья, он скоро переставал замечать. То есть начинал к ней относиться как вообще к окружающим. Если с интересом порою — то уже без специфического оттенка в интимности.

Смешно, конечно, утверждать, что это нежно-любопытное отношение к «женщине» было у Розанова только «идейным». Он входил в него весь, с плотью и кровью, как и в другое, что его действительно интересовало. Я не знаю и знать не хочу, случилось ли с ним то, что называют «грехом», фактической «изменой». Может быть, да, может быть, нет. Неинтересно, ибо это *ни малейшего значения не имеет*, раз дело идет о Розанове. И сам он слишком хорошо понимает, — ощущает, — свою органическую *верность*.

Будь верен человеку, и Бог ничто не поставит тебе в неверность.

Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять.

В самом деле, можно ли вообразить о Розанове, что он вдруг серьезно влюбляется в «другую» женщину, переживает домашнюю трагедию, решается развестись с «Варей», чтобы жениться на этой другой? О ком угодно — можно, о Розанове — непредставимо! И если все-таки вообразить — делается смешно, как если бы собака замурлыкала.

Собака не замурлычит, Розанов — не изменит. Он верен *своей жене*, как ни один муж на земле. Верен — «ноуменально».

Да, но жена-то этого не знает. Инстинктом любви своей, глубокой и обыкновенной, она не принимает розановского отношения к «женщине», к другим женщинам. У нее ложная точка зрения, но со своей точки зрения она права, ревнуя и страдая.

Розановская душа, вся пропитанная «жалением», не могла переносить чужого страдания. Единственно, что он считал и звал «грехом», — это причинять страдание.

Хотел бы я быть только хорошим? Было бы скучно. Но чего я ни за что не хотел бы, — это быть злым, вредительным.

Тут я предпочел бы умереть.

Что же ему делать, чтобы не видеть страданий любимой жены? Измениться он не может, да и не желает, так как чувствует себя пра-

вым и невинным. Страданий этих не понимает (как вообще ревности не понимает, — никакой), но видит их и не хочет их. Что же делать?

И он, при ней, изо всех сил начинает ломать себя. Бойтся слово лишнее сказать, делается неестественным, приниженно глупым. Увы, не помогает. Во-первых, он, бедненький, не мог угадать, какое его слово или жест окажутся вдруг подозрительными. А во-вторых, ревновала его жена к духу самому, к неуловимому. В жесте ли, в слове ли дело? Не понимая, не угадывая, что может ее огорчить, он даже самые невинные вещи, невинные посещения, понемногу начал скрывать от жены. На всякий случай, — а вдруг она огорчится? Чтобы она не страдала (этого он не может!), надо, чтобы она не знала. Вот и все.

В «секреты» розановские были, конечно, посвящены все. Он всем их поверял — вместе со своей нежностью к жене, трогательно умоляя не только не «выдавать» его, а еще, при случае, поддержать, прикрыть, «чтобы она была спокойна».

Он действительно заботился только о ее спокойствии. О себе — как бы, по неловкости, не «согрешить», т. е. недостаточно умело соврать. Ведь, —

...я был всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения, до неумения «встать» и «сесть». Просто не знаю, *как*. Никакого сознания горизонтов...

Очень прямые люди нет-нет и возмутятся: «Василий Васильевич, да ведь это же обман, ложь!» Какое напрасное возмущение! Прописывайте вы человеческие законы ручью, ветру, закату. Не услышат и будут правы: у них свои.

Даже и представить себе не могу такого «беззаконника», как я сам. Идея «закона» как «долга» никогда даже на ум мне не приходила.

Только читал в словарях на букву Д. Но не знал, что это, и никогда не интересовался. «Долг выдумали жестокие люди, чтобы притеснять слабых. И только дурак ему повинуетя». Так, приблизительно...

Только всегда была у меня *Жалость*. И была благодарность.

Но это как «аппетит» *мой*; *мой вкус*.

Удивительно, как я удеывался *с ложью*. Она меня никогда не мучила...

Так меня устроил Бог.

«Устроил», и с Богом не поспоришь. Главное — бесполезно. Бесполезно упрекать Розанова во «лжи», в «безнравственности», в «легкомыслии». Это все *наши* понятия. Легкомыслие? —

Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное *волнение*.

Дайте же ему «невеститься». Тем более, что не можете запретить. Наконец, в каком-нибудь смысле, может, оно и хорошо?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Душа озябла

Победоносцев посмотрел-посмотрел, да и запретил Р.-ф. собрания.

«Отцы» уже давно тревожились. Никакого «слияния» интеллигенции с церковью не происходило, а только «светские» все чаще припирали их к стене, — одолевали. Выписан был на помощь (из Казани?) архимандрит Михаил, славившийся своей речистостью и знакомством со «светской» философией. Но Михаил — о ужас! — после двух Собраний явно перешел на сторону «интеллигенции», и, вместо помощника, архиереи обрели в нем нового вопрошателя, а подчас обвинителя. (Дальнейшая судьба этого незаурядного человека любопытна. Продолжал острую борьбу против православной церкви и, под угрозой снятия сана, перешел в старообрядчество, где был епископом. Он возглавлял группу «голгофских христиан». В 1916 году умер в Москве, в больнице для чернорабочих.)

При таких обстоятельствах оставалось одно: закрыть, от греха, Собрания. Закрыли.

Вскоре подросла японская война, а с ней медленное, еще глухое, но все нарастающее внутреннее брожение.

«Новый Путь» продолжался, — очень трудно: без главного подспорья своего, — отчетов о Собраниях, под неистовством духовной цензуры, с растущими денежными затруднениями.

Перцов стал охладевать к делу и все чаще уезжать на Волгу. Розанов, понемногу, начал отходить тоже.

Дело в том, что группа главных участников журнала к тому времени не была уже сплочена. Расхождение — не в идее, а, пожалуй, в направлении воли.

Собственно идея (как и тема наших споров с церковью) была всегда одна: Бог и мир. Равноценность, в религии, духа и плоти. Можно себе представить, как это было близко сердцу Розанова. Однако, защищая «мир», он весь его стягивал к *полу* и *лигности*. Другие же в понятие «мира» хотели вдвинуть и вопрос общественный.

Иногда Розанов, по гениальному наитию, мог изрекать вещи в этой области очень верные, даже пророческие. Но не понимал тут ровно ничего, органически не мог понимать, и отвращался.

Общественность, — кричат везде, — пробуждение общественного интереса!..

...Когда я встречаю человека с «общественным интересом», то не то, чтобы скучаю, не то, чтобы вражду с ним: но просто умираю около него.

Весь смокнул и растворился: ни ума, ни воли, ни слова, ни души.
Умер.

И далее:

Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков...

— Ну? Ну?.. Хх...

— Это — что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил, я — первый... Просто, сидеть дома и хотя бы ковырять в носу «и смотреть на закат солнца!..» И «воля к мечте»... И «чудовищная» задумчивость...

— Что ты все думаешь о себе? — спрашивает жена. — Ты бы подумал о людях.

— Не хочется...

Не хочется, — интереса нет. А что такое Розанов без внутреннего, его потрясающего, интереса? Ребячески путает и путается, если не случилось наития, бранится — и ускользает, убегает.

Перед революционными волнениями он уже льнет все больше к литературно-эстетико-мистическим кружкам, которые, словно пузыри, стали вскакивать то здесь, то там. Заглядывает «в башню» Вяч. Иванова, когда там водят «хороводы» и поют вакхические песни, в хламидах и венках. Юркнул и на «радение» у Минского, где для чего-то кололи булавкой палец у скромной неизвестной женщины и каплю ее крови опускали в бокал с вином.

Ходил туда Розанов, конечно, в величайшем секрете от жены, — тайком.

В редакции нашей показывался все реже. Воскресенья его — не помню, продолжались ли. Кажется, опустели на время. А когда события сделались более серьезными, Розанова точно отнесло от нас, на другую волну попал.

Мы виделись, кажется... Но мельком. Кто-то говорил, что самые острые дни он просидел у себя на Шпалерной. Не из трусости, конечно, — что ему? А просто было «неинтересно» или даже «отвращало». Может быть, занимался нумизматикой...

Впрочем, скоро опять появился и даже стал интересоваться тем, что происходит, — со своего боку. Полюбил «митинги».

— Что вы там слушаете, Василий Васильевич?

— Что слушаю, ничего, я смотрю, как слушают. Какие удивительные есть, — курсистки. Глаза так и горят. И много прехорошеньких.

В это время он написал брошюру «Когда начальство ушло», — такую же... даже не подберу выражения — *осязательную*, что ли, как

все, что у него писалось-выговаривалось. Кроме этой «осязательности» стиля, ничего в ней не запомнилось. Но едва «начальство вернулось», — брошюра была запрещена.

Мы уже закончили наш журнал (в последнее полугодие сильно реформированный), передав его «идеалистам»: Булгакову, Бердяеву и всему их кружку. В начале 1906-го мы собирались надолго за границу.

Розанов, этой последней зимой, бывал у нас иногда — не часто. Интересно, что очень невзлюбил его Боря Бугаев (А. Белый. Он, приезжая из Москвы, жил у нас).

С трагически скошенными глазами, сдвинув брови, — ко мне:

— Послушайте, послушайте. Ведь Розанов — это *пло! П-л-о!*

— Что такое? Какое еще «пло»?

Оказывается, это он ехал по Караванной и видел вывеску (фамилия, должно быть) Пло. И ему казалось, что если повторять страшным голосом: «Пло! Пло!» — то можно его представить себе похожим на Розанова, и даже так, что сам Розанов — П-Л-О.

Меня эта ассоциация не увлекла, но, зная обоих, можно было уловить, как Бугаев соединяет «Пло» с Розановым и почему «боится» их. Не всякая чепуха совершенно бессмысленна.

Расстались мы с Розановым по-дружески. Он даже обещал писать (очень любил писать письма). Но не писал... долго. И вдруг, чуть не через год, — письмо за письмом, в Париж.

Что такое?

Розановские письма, как всегда сверкающие, махровые, разговорные, — содержали на этот раз конкретную просьбу. Он умолял меня содействовать возвращению его писем к одной «литературной» даме, муж которой только что, после 1905 года, эмигрировал (притом довольно глупо и напрасно). Розанов знал, что чета находится в Париже. Коварная дама будто бы не делала ни для кого секрета из этих писем, компрометантных лишь для Розанова (уж, конечно, компрометантных и, конечно, блестящих — ведь это были по-розановски интимные письма к женщине, да еще кокетливой, да еще еврейке!).

В мольбах Розанова слышалось отчаяние. Понять, зачем ему так понадобились эти письма, — было нетрудно. А так как мы знали, что жена Розанова тяжело больна (говорили, что у нее нервный удар), то объяснилось и отчаяние. Он боялся, нестерпимо мучаясь, что о письмах может узнать Варвара Дмитриевна.

Чувство его к жене, какая-то гомерическая смесь любви и жалости, делается в этот период трагичным. В него вливается «осязательное» ощущение — смерти.

Не то чтобы Розанов изменился. Ощущение смерти не ново для него. Всегда в нем жило, «но — не думал», а тут оно выплыло из глубин наверх, расширилось, покрыло все другие ощущения (да и навсегда окрасило, не уменьшив их силы, в свой цвет).

Я говорил о браке, браке, браке... а ко мне все шла смерть, смерть, смерть.

И еще:

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь...

Наконец:

Смерти я совершенно не могу перенести...

Я так относился к ней, как бы никто и ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было.

Самое обыкновенное, самое «всегда»: и этого я не видел.

Конечно, я ее *видел*: но, значит, я *не смотрел*... Не значит ли это, что и *не любил*?

Вот «дурной человек во мне», дурной и страшный». В этот момент как я ненавижу себя, «как враждебен себе».

У Розанова нет «мыслей», того, что мы привыкли называть «мыслью». Каждая в нем — непременно и пронзительное *физическое* ощущение. К «рассуждениям» он поэтому неспособен, что и сам знает:

Я только смеюсь и плачу. Рассуждаю ли я в собственном смысле? Никогда!

Смерть для него была физическим «холодом» (как жизнь, любовь-жалость, — греющим, светящим огнем).

Больше любви, больше любви, дайте любви! Я задыхаюсь в холоде.

У, как везде холодно!

И когда он говорит:

«Душа озябла. Страшно, когда наступает озноб души», — это не метафора, не образ, — где его «душа», где тело? — но опять *физическое*, телесное ощущение *холода*, — ощущение смерти.

Писем, о которых он так умолял, мы ему не достали. Мы знакомы были с мужем розановской мучительницы. К мужу и обратились с ходатайством. Он предупредил нас, что надежды мало. И действительно. Не отдала. Не захотела.

Я не думаю, чтобы из этого вышла большая беда. Вряд ли до больной женщины могли дойти слухи об этой, в сущности, невинной истории. А если бы и дошли? Она, вероятно, уже не приняла бы это так, как опасался Розанов.

А все же, в то время, очень мне было Розанова жалко.

2

В тужом монастыре

Я не пишу дифирамба Розанову. Не говоря о том, что — «Никакой человек недостоин похвалы; всякий человек достоин только жалости», — есть ли смысл хвалить (или порицать) Розанова? Есть ли хоть интерес? Ни малейшего. Важно одно: понять, проследить, определить Розанова как редчайшее явление, собственным законам подвластное и живущее в среде людской. Понять ценность этого говорящего явления, т. е. понять, что оно, такое, как есть, может дать нам, или что можем мы от него взять. Но непременно такое, как есть.

Иду! Иду! Иду! Иду!..

И где кончается мой путь — не знаю.

И не интересуюсь. Что-то стихийное, а не *человеческое*. Скорее «несет», а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял.

Где уж тут «человеческое»!

Надо, однако, сознаться, что понять это чрезвычайно трудно. Так трудно, что и мы, знавшие его, мгновениями видевшие, что он не идет в ряду других людей, а «несет» его около них, — и мы забывали это, слепли, начинали считаться с ним, как с обычным человеком.

Может быть, и нельзя иначе — нельзя было иначе тогда. Ведь все-таки он имел вид обыкновенного человека, ходил на двух ногах, носил галстук и серые брюки, имел детей, дар слова... и какой дар! Может быть, потому, что он, с этим даром, не ограниченный никакими человеческими законами, жил *среди нас*, где эти законы действуют, мы даже права не имели не охранять их от него? Всякое человеческое общество — монастырь. Для Розанова — чужой монастырь (всякое!). Он в него пришел... со своим уставом. Может ли монастырь позволить одному-единственному монаху жить по его собственному уставу? «Оставьте меня в покое». «Да, но и ты оставь нас в покое, уходи».

«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали», — говорит Розанов и начинает писать двумя руками: в «Новом Времени»

одно, — в «Русском Слове», под прозрачным и нескрывающим псевдонимом, — другое.

Обеими руками он пишет искренне (как всегда), от всей махровой души своей.

Он прав.

Но совершенно прав и П. Б. Струве, печатая в «Русской Мысли», рядом, параллельные (полярные) статьи Розанова и обвиняя его в «двурушничестве».

Однако я забегаю вперед.

Возвратясь в Петербург, мы нашли Розанова с виду совершенно таким же, каким оставили. Таким же суетливым, интимничающим, полупшепотным говорком болтающим то о важном, то о мелочах. Лишь приглядываясь, можно было заметить, что он еще больше размахровился, все в нем торчит во все стороны, противоречия еще подчеркнулись.

Впрочем, особенно приглядываться не было случая: Розанова мы стали видеть не часто. Вышло это само собою. С ним и вообще-то никогда ничего нельзя было *вместе делать*, а тут почувствовалось, что и нечего делать.

В Петербурге же, после «половинной» революции, многие воображали, что можно что-то «делать», — во всяком случае тянулись к активности.

О Розанове ходило тогда много слухов, вернее, сплетен, о разных его прошлых «винах», которыми мы не интересовались. Да и мало верили: жена все еще была сильно больна, и в Розанове, хотя он об этом не говорил, очень чувствовалась боль смертная и забота.

Раз как-то забежал к нам летом, по дороге на вокзал (жил тогда на даче, в Луге, кажется).

Торопливый, с пакетами, в коричневой крылатке. Но хоть и спешил — остался, разговорился. Так, в крылатке, и бегал нервно по комнате, блестя очками.

Разговор был, конечно, о религии и опять о христианстве. Отношение к нему у Розанова показалось мне мало по существу изменившимся. Те же упреки, что христианство не хочет знать мира с его теплотой и любовью, не приемлет семью и т. д. Потом вдруг:

— Вы ведь «апокалиптические» христиане... А какое же там, в Откровении, христианство? Я Откровение принимаю... Я даже четвертое Евангелие, всего Иоанна, готов принять. Только не синоптиков. Давайте, откажитесь от синоптиков, — будем вместе...

Мы, конечно, от синоптиков не отказались, но в эту минуту кто-то принес показать Розанову наших маленьких щенков, шестинедельных младенцев-таксиков, — и на них тотчас обратилось все его внимание.

— Вот бы детям... Ах, Боже мой... Вот бы детям сvezти...

— Да возьмите, Василий Васильевич, выберите какого лучше и тащите с собой на дачу.

— Ах, Господи... Нет, я не смею. Дома еще спросят: что? откуда? Нет, не смею. А хорошо бы...

Мы вспомнили, что для Розанова и наш дом был всегда «запрещенным»: жена считала его «декадентским», где будто бы Василия Васильевича... отвращают от православия.

— Скажите, что на улице нашли, — продолжаю я убеждать Розанова насчет щенка.

— Не поверят... Нет, не смею...

Так и ушел, не взял.

3

Какие «да»! Какие «нет»!

Мы застали в Петербурге, как бы на месте старых Р.-ф. собраний, целое Рел.-фил. общество, легализованное и многолюдное.

Ничего похожего на прежние, полуподпольные, острые Собрания. Председатель — Карташев, выходец «из-за железного церковного занавеса», но выходец окончательный: еще до нашего отъезда мы его убедили (с большими трудами, точно предлагали броситься в холодную воду) — покинуть Духовную Академию. Он решился наконец (тем более что положение его было уже там непрочно) и, вместе с несколькими другими, выплыл в житейское море.

Волны этого моря не оказались коварными для него: он устроился в Публичной библиотеке, а затем стал преподавателем богословия на Женских курсах. Печать некоторой постоянной «боязни», вечное оглядыванье, еще отличала в нем человека из «иного мира». Но по-немногу он приучался к «светской» свободе.

Р.-ф. общество, где его выбрали председателем, было, в сущности, одним из обыкновенных интеллигентских обществ. Только с некоторым привкусом «московского идеализма» (чуть уловимый крен к православию). Священники посещали его, но об архиереях, о черном духовенстве — и помину не было. Полное отсутствие так называемой «уходящей церкви».

Мы, несмотря на чуждый нам уклон, вошли в Совет Общества и, естественно, внесли туда мятежный дух, меняющий направление. Это, впрочем, делалось медленно и не без трудов.

Розанов в Совете не состоял. Он только, по памяти, был одним из первых действительных членов — или даже членом-учредителем, не помню. На заседания ходил, но никаких докладов не читал. Все было

другое. По времени — острота лежала в чуждом Розанову вопросе: не о религиозном *поле*, а о религиозной *общественности*.

Годы мелькали, — последние, предвоенные. О них можно было много рассказать, но я пишу не о них, — о Розанове.

Мы его совсем больше не видели. Знали, что жена плохо поправляется, что он давно не живет на Шпалерной, переезжает с квартиры на квартиру, что после смерти старика Суворина положение его в «Новом Времени» не изменилось. Слышали, что он видится с новыми людьми, очень от нас далекими... а главное, слышали его самого в изданных в это время «Уединенном» и «Опавших листьях» («2 короба»).

Именно *слышали* его в этих трех... книгах? Он был прав, говоря, что таких «книг» никто раньше не писал и никто не напишет. Для этого надо уметь «выговаривать» себя, как он, а чтобы издать их — надо быть «беззаконником», не понимающим, «что ему современничают другие люди». Словом, — надо быть в полноте «Розановым».

Для знавших его, как мы знали, — ничего нового в этих книгах не содержалось. То же, что он говорил не раз, и та же интимность до... до полного душевного раздевания. Был он в них весь: с Богом и полом, с Россией, которую чувствовал изнутри, как самого себя, и любя, и ругая. С евреями, его притягивающими и отталкивающими. И даже с трагично выплывшим поверх других «ощущений» — ощущением смерти, холода.

Только все «да—нет» чем дальше, тем резче подчеркивались, все чудовищнее переплетались. Он сам останавливается удивленно: «Душа моя какая-то путаница...» И эта эволюция (если это эволюция) была в нем как будто еще не закончена.

Действительно: не предстояло ли ему безмерно обостриться в противоречиях, дойти до глубины страданий, «выговорить» их в предсмертных тетрадах своего «Апокалипсиса» и, наконец, в монастыре, в Троице-Сергиевой лавре, — умереть на руках самого, кажется, умного и *жесток*ого священника — П. Ф.?

4

Мне все можно

Об этом священнике кто-нибудь напишет в свое время. Мы знали его московским студентом-математиком (он писал в «Новом Пути»). Потом встречали в Донском монастыре, у его духовника, мятежного и удивительного еп. Антония. Но действительно узнали и поняли через сестру его, Ольгу. Она любила его, ездила к нему в Лавру, но никогда не была под его влиянием. Была близка нам, подолгу жила у нас. Эта замечательная женщина-девушка умерла перед войной, 22 лет от роду.

Я не буду писать ни о ней, ни о брате: слишком удлинило бы это мой рассказ. Да и жизнь его еще не кончена. Думаю, сильная личность его не пройдет без следа даже в наше смутное время.

Любил ли его Розанов? Уже в предвоенные годы знал его. Но упоминает о нем редко, вскользь: «Вся его натура какая-то ползучая...»

Они видятся, однако, все чаще. Ко времени «дела Бейлиса», так взволновавшего русскую интеллигенцию, Розанов, не без помощи Ф., начинает выступать против евреев — в «Земщине». Статьи, которые отказывалось печатать даже «Новое Время», — радостно хватались грязной, погромной газеткой.

Были ли эти статьи Розанова «погромными»? Конечно нет и конечно да. Не были, потому что Розанов никогда не переставал страстно, телесно, любить евреев, а Ф., человек утонченной духовной культуры и громадных знаний, не мог стать «погромщиком». И, однако, эти статьи погромными были, фактически, в данный момент: Розанов, в «Земщине», т. е. среди подлинных погромщиков, говорил, да еще со свойственным ему блеском, что еврей Бейлис не мог не убить мальчика Юшинского, что в религии еврейства заложено пролитие невинной крови, — жертва.

А Ф. сказал тогда сестре: если бы я не был православным священником, а евреем, я бы сам поступил, как Бейлис, т. е. пролил бы кровь Юшинского.

В это время к Розанову не только писательские круги, но и вообще интеллигенция относилась уже довольно враждебно. Повторяю: какая «совместность» человеческая может терпеть человека-беззаконника, живущего среди людей, и знать не желающего их неписанных, но твердых уставов? Нельзя «двурушничать», т. е. печатать одновременно разное в двух разных местах. Нельзя говорить, что плюешь на всякую мораль и не признаешь никакого долга. Нельзя делать «свинства» (по выражению самого Розанова), например, — напечатать, в минуту полемической злости, письмо противника, адресованное к третьему лицу, чужое, случайно попавшее в руки. И нельзя, невозможно так выворачивать наизнанку себя, своих близких и далеких, так раздеваться всенародно и раздевать других, как Розанов это делает в последних книгах.

— Нельзя? — говорит Розанов. — Мне — можно. На мне и грязь хороша, потому что я — я.

— А вы все — «к черту!..»

Он прав, что ему — можно. Но «все» — люди, посылаемые к черту, — правы тоже, знать не желая, почему «Розанову можно», и отвечая ему таким же «к черту».

Всенародное самовыворачивание Розанова, хотя и оскорбляло многих, было еще терпимо: уединенный человек, говорит из своего уединения. Но статьи в «Земщине», такие, в такой момент, — делали Розанова «вредительным» общественно (чего он, конечно, не понимал). От него уже надо было — общественно — защищаться.

Такой защитой было, между прочим, и публичное исключение его из числа членов Религиозно-философского общества.

Если я останавливаюсь на этом инциденте (незначительном, в конце концов), то лишь для того, чтобы попутно отметить: были и в то время два-три человека, смотревшие на Розанова с глубоко правильной точки зрения. Они утверждали его как *явление* исключительной ценности, понимали, что ему-то, от себя, «все позволено», что он живет по своим законам. Ни один из этих людей никогда *лиг*но не рассердился на Розанова, хотя поводов для раздражения было сколько угодно.

Но эти же люди особенно твердо стояли за необходимость «защиты» от Розанова, в данном случае — за необходимость исключения его из членов Общества.

Хочу сознаться, увы, что, на мой тогдашний взгляд, Розанов был еще слишком «человек», и предельная безответственность его как *человека* мне была нестерпима. Сколько несправедливых слов было сказано, несправедливых и бесцельных, — и как я о них теперь жалею!

5

Мелькнули дни...

После «дела Бейлиса», статей в «Земщине» и всех попутных историй — Розанов совсем скрывается, с нашего, по крайней мере, горизонта. А вначале бравировал, писал в «Новом Времени» самые непростительные ругательные статьи против «интеллигенции», приходил на каждое Р.-ф. собрание, чуть ли не до последнего, на котором его торжественно исключили. Кто-то сказал, что «гонение» на Розанова жестоко. Это неправда. Никакой жестокости в этих протестах, исключениях, не было: ведь его «наплевать» — слово очень искреннее. Если и огорчался «скандалами» — то опять, кажется, боясь, не расстроили бы они его больную жену.

А вскоре и Бейлис, и Розанов — все было забыто: пришла война.

Что писал и делал Розанов во время войны?

Писал, конечно, в «Новом Времени», — неинтересно. Думаю, сидел тихо у себя, — жена все еще болела. Одна из дочерей его, как мы слышали, готовилась поступить в монастырь (мне неизвестна эта драма, — вернее, трагедия, — в подробностях. Знаю только, что дочь

Розанова, монахиня, покончила самоубийством незадолго до смерти отца).

Может быть, Розанов, в военные годы, работал и над книгой о Египте (осталась незаконченной). Он готовил ее очень давно. Еще в дни наших постоянных встреч увидел раз у меня на столе большого скарабея (приятельница-англичанка привезла из Египта). Пришел в страстный восторг:

— Подарите мне! Мне очень нужно. Вам на что? А я книгу об Египте напишу. У меня и все монеты — египетские. В Египте то было, чего уже не будет: христианство задушило.

Очень радовался подарку и унес, завернув в носовой платок.

В военные годы, еще до революции, Розанов начал и свой «Апокалипсис». Выпускал его периодически, небольшими тетрадами.

Мне помнится там рассказ — встреча Розанова с войсками на Захарьевской улице. Опять передал свое телесное ощущение: движется внешняя сила, только голая сила, тяжелая, грубая, «мужская». Перед ней Розанов, маленькая одиночка, прижавшаяся на тротуаре к дому, — чувствует себя воплощенной слабостью, «женщиной»...

Вот опять мелькнули годы — мгновенья. Как вспыхнувшая зарница — радость революции. И сейчас же тьма, грохот, кровь и — последнее молчание.

Тогда время остановилось. И мы стали «мертвыми костями, на которые идет снег».

Наступил восемнадцатый год.

6

Ледяные воды

Сначала еще видались кое с кем.

— Не знаете ли, что Розанов?

— Он в очень тяжелом положении. Был здесь, в Петербурге. Потом уехал, с семьей, — или кто-то увез его. Семья живет под Москвой, в Троице-Сергиевом Посаде. Стал, говорят, странный и больной. Такой нищий, что на вокзале собирает окурки...

— Их, вероятно, Ф. в Лавре устроил?

— Кажется. Но живут очень плохо. Варвара Дмитриевна все больна, почти не ходит... И вы знаете, сын их умер.

— Как? Вася умер?

У Розанова было четыре дочери и единственный сын, Вася.

— Да, умер. Его взяли в Красную армию...

Перебиваю:

— Да ведь ему лет пятнадцать-шестнадцать?

— Ну, набирают теперь молодежь, даже четырнадцатилетних. Отправили куда-то далеко, к Польше. Да он не доехал. Заразился в поезде сыпным тифом и умер. С тех пор и Василий Васильевич нездоров. Впрочем, истощен тоже очень. «Апокалипсис» его до последнего времени выходил. Теперь — не знаю. Думаю, и в продаже его уже нет. Все ведь книги запрещены.

Окурки собирает... Болен... Странный стал... Жена почти не встает... И Вася, сын, умер...

Не удивляло. Ничто, прежде ужасное, не удивляло: *теперь* казалось естественным. У всех, кажется, все умерли. Все, кажется, подбирают окурки...

Удивляло, что кто-то не арестован, кто-то жив.

Мысли и ощущения тогда сплетались вместе. Такое было странное: непередаваемое время. Оно как будто не двигалось: однообразие, неразличимость дней, — от этого скука потрясающая. Кто не видел революции — тот не знает настоящей скуки. Тягучее удушье.

И было три главных телесных ощущения: *голода* (скорее всего привыкаешь), *темноты* (хуже гораздо) и *холода* (почти невозможно привыкнуть).

В этом длительно-однообразном тройном страдании — цепь вестей о смертях, арестах и расстрелах разных людей.

И Меньшикова расстреляли.

— За «Новое Время». Он в Волочек уехал. Нашли. Очень хорошо, мужественно умер. С семьей не дали проститься.

— Вот как.

— Да, говорят, и Розанова расстреляли. Тоже за «Новое Время», очевидно. Это слух.

— И Розанова?

— А В. опять в Чека увезли. Вчера. Напишите Горькому. Вы ему еще не писали. Напишите вы теперь.

— Я?

Мне донельзя противно писать Горькому. Но, действительно, ему все уже писали, все к нему приставали, кроме меня. И В. очень жалко. Да и силы сопротивления у меня нет. Конечно, Горький меня не послушает. Дочь этой самой несчастной и невинной больной В., которую уже пятый раз волокут в Чека, целую ночь просидела у него на лестнице, ожидая приема. Не принял. Что же я?

Однако вяло беру бумагу. «Дорогой»... «уважаемый»...? Не поднимается рука. Просто: «Алексей Максимович»...

Пишу обыкновенные, вопиющие вещи. И прибавляю: вы, вот, русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам «правительства» большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю — Розанову, если верен слух, что его расстре-

ляли? Не можете ли вы, по крайней мере, сообщить, верен ли слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей «власти». Вы когда-то стояли за «культуру». Ценность Розанова как писателя вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух...

Что-то в этом роде; кажется, резче. Не все ли равно? Что терять? Без того противно писать Горькому. И бесцельно.

К удивлению, вышло не совсем бесцельно. Двинул ли Горький пальцем насчет В. и Чека, не помню, но насчет Розанова как будто двинул. То есть поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове и, когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег.

Мы узнали все это (Горький, конечно, мне не ответил) от друга и поклонника Розанова, молодого писателя Х., к нам пришедшего. Этот Х. умудрялся в то время держать еще фуксом книжную лавочку, продавал старые брошюры, даже новенькие безобидные выпускал, вроде сборников, где печатал и последний розановский «Апокалипсис».

Х., оказывается, давно уже пытался сделать что-нибудь для Розанова и был в сношениях с Лаврой. Имел известия, что деньги от Горького действительно посланы. Надеялся добыть еще и свезти их Розанову сам: ему написали, что Розанов уже не «истощен» и «нездоров», но отчаянно, по-видимому смертельно, болен.

— Было кровоизлияние, немного оправился — второе. Лежит недвижимо, но в полном сознании. Питать его нечем, лекарств никаких.

Х. принес нам и последние страницы «Апокалипсиса».

Опять весь Розанов в них, весь целиком: его голос, его говор, и наше время страшное, о котором у нас слов не было, — у него были. Тьма, голод и *холод* — смерть.

Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии «холода» — организму человеческому, как организму «тепловому». Он боится холода и как-то *душевно боится*, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жестою, как «гусиная кожа на холоду»...

Вот он снова, его страх перед *холодом*. И как страшно холод достигал его. Настиг, внешний, как всех нас тогда, еще перед болезнью. Схватил, внутренний, в болезни. И уже не выпустил из челюстей, пока не сожрал, — в смерти.

А защищаться было нечем. «Топлива» для организма, еды — не было.

Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, все это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек...

Он писал это еще до болезни, еще на ногах (когда, вероятно, окурки на вокзале Ярославском собирал). Один из выпусков «Апокалипсиса», после блестящих и глубоких страниц, кончается:

Устал. Не могу. 2—3 горсти муки, 2—3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц — может часто спасти день мой...

Но день его не был спасен. Случайная подачка «собрата» Горького опоздала.

Скоро, через X. (а может быть, и нет), пришло к нам первое письмо Розанова, уже больного, — написанное рукой дочери, действительно «выговоренное» (его рука была недвижна).

Первое, потом второе, потом третье... Как я больно жалею, что их нет у меня. Они, конечно, не исчезли совсем, навсегда. Любящая дочь, верно, сохранила копии. Кое-что из них посылалось и другим, я думаю, — вот о «холоде» его предсмертном потрясающие слова: они были даже не так давно напечатаны в какой-то заграничной газете. Наверное, писал он Горькому (и наверное, Горький письма сохранил, ведь *его* собственность всегда была неприкосновенна). «Спасибо Максимушке», — ласково и радостно писал и нам Розанов, этот «бедный человек, горький человек». Все благодарил его за подачку: на картошку какую-то хватило.

Сознавал ли, что умирает? «Очень мне плохо: склероз в сильнейшей степени...» Потом вдруг шутил и говорил, что долго еще нужно лежать, шесть месяцев, что поправление идет медленно. И тут же об этом страшном «ледяном озере», куда он постепенно опускается, так, что ноги — уже там и уже как бы не его, и с ног холодная, ледяная вода все подымается выше... Но — как передать? — ни в одной, самой страшной строке, — не было «нытья» и даже почти жалобы не было, а детская разве жалостность.

Никогда мы так вкусно не ели: картошка жареная, хлеба кусочек, и так хорошо.

Но потом вдруг:

Пирожка бы... Творожка бы...

О дочерях писал, какие они, как за ним ухаживают: «На руки меня берет с постели, как ребенка, и на другую кровать, рядом, пе-

рекладывает, пока ту поправляют. Говорит, что я легкий стал, одни кости. Да ведь и кости весят что-нибудь...»

О жене — кажется, ни разу, ни слова. Он и раньше о ней не говорил в письмах. Мы, впрочем, знали, что она всегда при нем, тоже полунедвижимая, и что он вечно думает о куске — для нее.

Эти письма, писанные дочерью, до такой степени *сам* Розанов, что странно было видеть чужой почерк. Розанов в расцвете своих душевных сил? Нет, просто он в том самом расцвете, в каком был всегда, единственный, неоценимый, неизменяемый. Одно раз-ве: в предпоследние годы его бесчисленные мылеощущения, его «да — нет», с главным, поверх выплывшим ощущением «холода — смерти», — были уже так заострены, что куда же дальше? И однако, они еще обострились, отточились, дошли до колющей тонкости, силы и яркости.

Ледяные воды поднимались к сердцу.

7

Слова любви

— Розанов нашел приют в Троице-Сергиевой лавре в тяжелую минуту. Очень хорош с Ф., который его не покидает. Семья такая православная. Да, вот он и пришел к христианству.

Так стали говорить о нем. И рассуждали, и доказывали.

— Ведь это еще с тех пор началось, его коренная перемена, со статей против евреев. Какой был юдофил. А вот — дружба с Ф. И, параллельно, отход от евреев, обращение к христианству, к православию, переезд в Лавру...

Это говорили люди, судя Розанова по-своему, — во времени. И было, с их точки зрения, правильно, и было *похоже* на правду.

А что — на самом деле? Посмотрим.

Услуги еврейские, как гвозди в руки мои, *ласковость* еврейская, как пламя обжигает меня.

Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо, обве-янный этой ласковостью, задохнется и сгниет мой народ.

Не написано ли это уже во время «поворота», уже под влиянием Ф., не в Лавре ли? О, нет! До войны, до Ф., в самый разгар того, что звали розановским безмерным «юдофильством». В Лавре же, в последние месяцы, вот что писалось-выговаривалось:

Евреи — самый утонченный народ в Европе...

Все европейское как-то необыкновенно грубо, жестко, сравнительно с еврейским...

И везде они несут благородную и святую идею «греха» (я плачу), без которой нет религии. Они. Они. Они. Они утерли сопли пресловутому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: на, болван, помолись. Дали псалмы. И чудная Дева — из евреек. Что бы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи». Социализм? Но ведь социализм выражает мысль о «братстве народов» и «братстве людей», и они в него уперлись...

Переменился Розанов? Забыл свое влюбленное притягивание к евреям под «влиянием» Ф.? Это — о евреях. Ну, а христианство? Православие? Кто Розанов теперь? Что он пишет *теперь*, в Лавре?

Ужас, о котором еще не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а что христианство сгноило грудь человеческую.

Попробуйте распать Солнце, и вы увидите, который Бог.

Солнце больше может, чем Христос, и больше Христа желает счастья человечеству...

Что же это такое? Что скажем?

Ничего. Розанов верен себе до конца. Он верен и любви своей ко Христу. Тайной, но чем глубже «долина смертной тени», тем чаще молнии прорывов любви. Вот один из этих прорывов, за 6 лет до смерти:

...все ветхозаветное прошло, и настал Новый Завет». Впервые забрезжило в уме. Если Он — Утешитель, то как хочу я утешения. И тогда Он — Бог мой. Неужели?

Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь. Неужели думать: встретимся! Воскреснем! И вот Он — Бог наш! И все — объяснится.

Угрюмая душа моя впервые становится на эту точку зрения.

О, как она угрюма была, моя душа...

Ужасно странно.

Т. е. ужасное было, а странное наступает.

Господи: неужели это Ты. Приходишь в ночи, когда душа так скорбела...

И ничего, совсем ничего, что потом, из монастыря, почти на одре смерти, пишет: «Христианство сгноило грудь человеческую». Он тут же возвращается:

Душа восстанет из гроба и переживет, каждая душа переживет, и грешная, и безгрешная, свою невыразимую «песнь песней». Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь.

Всегда возвращается, всегда — он, до конца — он, нашими законами не судимый, им непоклонный.

Вот почему ненужны, узки размышления наши о том, стал или не стал Розанов «христианином» перед смертью, в чем изменился, что отверг, что принял.

Звонок по телефону:

— Розанов умер.

Да, умер. Ничего не отверг, ничего не принял, ничему не изменил. Ледяные воды дошли до сердца, и он умер. Погасло явление.

Вот почему показалось нам горьким мучительное, длинное письмо дочери, подробно описывающее его кончину, его последние, уже безмолвные, дни. Кончину «христианскую», самую «православную», на руках Ф., под шапочкой Преподобного Сергия.

Что могла шапочка изменить, да и зачем ей было изменять Розанова? Он — «узел, Богом связанный», пусть его Бог и развязывает.

Христианин или не христианин, — что мы знаем? Но, верю, и тогда, когда лежал он, совсем безмолвный, опять в уме вспыхнули слова любви:

Господи, неужели Ты не велишь бояться смерти?

Неужели умрем, и ничего?

Господи, неужели это — Ты.

В. Ф. Ходасевич

З. Н. ГИППИУС. «ЖИВЫЕ ЛИЦА»
I и II т. Изд-во «Пламя». Прага, 1925 г.



уд истории нелицеприятен». Да. Но для того чтоб он был справедлив, одной воли к нелицеприятию мало. Чтобы судить *верно*, история должна опираться на документы и свидетельства, добываемые от современников данного лица или события. Без того все ее оценки не стоят ничего. Пока совершается этот «процесс первоначального накопления», историк, в сущности, не может разбираться в качествах собираемого материала. В этом периоде он подобен Плюшкину: его добродетель — жадность. Только после того, как материал накоплен, начинается пресловутый «суд». Дело его — разобраться в документах и показаниях, отделить истину от лжи, точное от неточного и проч. Тут и сами свидетели попадают под тот же суд.

Под общим заглавием «Живые лица» З. Н. Гиппиус собрала свои литературные воспоминания. Отдельными очерками они ранее появлялись в разных журналах и сборниках. Кое-кто из людей, упоминаемых З. Н. Гиппиус, еще живы, иные умерли лишь недавно. Но я не буду касаться вопроса о своевременности появления в печати этих мемуаров. Меж тем как обыватель в ужасе, не лишенном лицемерия, покрикивает: «Ах, обнажили! Ах, осквернили! Ах, оскорбили памяти!» — историк тщательно и благодарно складывает эти воспоминания в свою папку. Его благодарность — важнее обывательских оханий. Кроме того, наше время, условия нашей жизни — неблагоприятны для рукописей. Сейчас печатание мемуаров — единственный верный способ сохранить их для будущего.

Все это я говорю потому, что на книги З. Н. Гиппиус не могу не смотреть прежде всего как на ценнейший мемуарный материал. Конечно, они написаны в литературном смысле блестяще. Это и сейчас

уже — чтение, увлекательное, как роман. Люди и события представлены с замечательной живостью, зоркостью, — от общих характеристик до мелких частных, от описания важных событий до маленьких, но характерных сцен. Но, несомненно, свою полную цену эти очерки обретут лишь впоследствии, когда перейдут в руки историка и сделаются одним из первоисточников по изучению минувшей литературной эпохи. Пожалуй, точнее сказать: двух эпох.

Сколько людей прошло перед Гиппиус! Плещеев, Вейнберг Суворин, Полонский, Григорович, Горбунов, Майков, Минский, Андреевский, Чехов, Толстой, Розанов, Брюсов, Сологуб, Блок, Андрей Белый, Игорь Северянин! Один этот перечень (сокращенный к тому же) указывает на огромный круг ее наблюдений. И все эти люди показаны не в неподвижных «портретах», а в движении, в действии, в столкновениях. А сколько событий, кружков, собраний! Тут и пятницы у Полонского, и зарождение и история Религиозно-философских собраний, и среды Вяч. Иванова, и ранние сборища московских декадентов, и редакции «Северного Вестника», «Нового Пути», «Вопросов Жизни», «Весов».

В своих описаниях Гиппиус отнюдь не гонится за беспристрастием и бесстрастием. Она, видимо, и сама хочет быть мемуаристом, а не историком; свидетелем, а не судьей. Она наблюдает зорко, но «со своей точки зрения», не скрывая своих симпатий и антипатий, не задушевывая своей заинтересованности в той или иной оценке людей и событий. Поэтому сквозь как будто слегка небрежный, капризный говорок ее повествования читатель все время чувствует очень ясно, что ее отношение к изображаемому как было, так и осталось не только созерцательно, но и действенно — и даже гораздо более действенно, чем созерцательно. Таким образом, кроме описанных в этой книге людей перед читателем автоматически возникает нескрываемое, очень «живое лицо» самой Гиппиус. И если для оценки *всяких* мемуаров историк методологически важно знакомство с личностью мемуариста, с его положением в круге изображаемых лиц и событий, то в данном случае историк оказывается в особенно выгодном положении: З. Н. Гиппиус дает ему обильнейший материал для суждения о ней самой не только как об авторе мемуаров, но и как о важной участнице и видной деятельнице данной литературной эпохи. Не жеманничая, не стараясь умалить свою роль, но и не заслоняя своей особой тех, о ком пишет (общеизвестная ошибка многих воспоминателей), З. Н. Гиппиус мимоходом сообщает ряд драгоценных сведений о себе самой, о своем значении и влиянии в жизни минувшей литературы. Это влияние, кстати сказать, мне кажется еще далеко не вполне взвешенным нашей *критикой*. Во всем объеме его еще только предстоит обнаружить будущему *историку*.

Как современный, так и будущий читатель, быть может, не согласится с некоторыми характеристиками и мнениями Гиппиус. Несомненно, однако, что с ее определениями надо будет весьма считаться. Но если кое на что придется, вероятно, взглянуть иначе, то это — лишь общая участь всех мемуаристов. История всегда располагает большей объективностью и большим запасом сведений, чем отдельный мемуарист. Можно, пожалуй, сказать, что оценки, даваемые мемуаристом, всего важнее для того, чтобы определить только его самого. Их роль вспомогательная, и история почти никогда не принимает их полностью, без поправок. Повторяю, очень хорошо, что Гиппиус дает нам столько характеристик и оценок, но в данном случае это хорошо потому, что мы имеем дело с такой крупной личностью, как Гиппиус. Из рядовых же мемуаристов наилучший тот, который, не мудрствуя лукаво, дает наиболее точные сведения о наибольшем количестве фактов. Общеизвестно, что иногда незначительная подробность или случайно упомянутая дата оказываются при исторической обработке наиболее ценными и важными из всего мемуарного состава. И опять-таки надо быть благодарными З. Н. Гиппиус, что она не поскупилась на подробные сообщения. Эта мелкая россыпь ее сведений в будущем сослужит свою службу.

Хорошо поэтому, что Гиппиус не откладывает писания до тех пор, пока мелочи исчезнут из памяти. Она сама говорит: «Боюсь неточностей» — и очень хорошо делает, что часто оговаривается: «кажется», «не помню» и т. д.: таким образом она уменьшает свой риск внести путаницу и ввести в заблуждение. Некоторые неточности, однако же, вкрались. Например, жена Брюсова — чешка, а не полька; книга рассказов Брюсова, о которой упоминает З. Н. Гиппиус, называлась не «Проза поэта» (такой книги он вовсе не выпускал), а «Земная ось»; издательство «Альциона» не существовало одновременно с «Весами» и «Золотым Руном»; Брюсов жил не «против Сухаревки», а довольно далеко от нее, на 1-й Мещанской, 32; из иностранных писателей участвовал в «Весах» далеко не один А. Жид; как ни угодничал Брюсов перед большевиками, все же, вопреки ходячему мнению, цензором он ни минуты не был; брошюры «Почему я стал коммунистом» он также не выпускал, а только читал лекции на эту тему. В стихотворных цитатах память порядком изменяет З. Н. Гиппиус. Она пишет: «Я долго был рабом покорным» — надо: «Я раб и был рабом покорным». «Месть оскорбителям святынь!» — надо: «Казнь...». «Мне надоело быть Валерий Брюсов» — надо: «Желал бы я не быть Валерий Брюсов».

В очерке о Блоке измена памяти заставляет З. Н. Гиппиус намекнуть на то, что в стихах, посвященных ей, Блок будто бы написал не-кстати:

Вам зеленоглазую наядой
Петь, плескаться у ирландских скал.

После этих «скал» она ставит недоуменный вопросительный знак. Однако никакой бессмыслицы Блок здесь не написал, а лишь намекнул на стихи самой З. Н. Гиппиус:

О Ирландия, океанная,
Мной не виденная страна!
Почему ее зыбь туманная
В ясность здешнего вплетена?

Я не думал о ней, не думаю,
Я не знаю ее, не знал...
Почему так режут тоску мою
Лезвия ее острых скал? — *и т. д.*

Правдивость — главное, основное требование, предъявляемое к мемуаристу. Но — отец лжи усердно расставляет вокруг него свои сети. Из них главная — передача слухов и чужих рассказов. Поэтому Гиппиус очень хорошо сделала, поставив себе за правило — не передавать с чужих слов. В очерке о Брюсове она пишет: «Намеренно опускаю все, что рассказывали мне другие о Брюсове и его жизни... Никогда ведь не знаешь, что в них правда, что ложь, — невольная или вольная». В статье «Благоухание седин» этот методологический принцип формулирован так: «Всегдашнее мое правило — держаться лишь свидетельств собственных ушей и глаз. Сведения из третьих, даже вторых рук — опасно сливаются со сплетнями».

Однако мне хочется остановиться на одном случае, когда З. Н. Гиппиус отступила от этого правила — поверила слухам и записала их без проверки. Дело идет о предсмертной поре Розанова и об отношении Горького к розановской участи. З. Н. Гиппиус очень не любит Горького. Может быть, у нее имеются самые веские основания. Но и на самого черного злодея не следует взваливать то, в чем он неповинен.

Однажды (по-видимому, в конце 1918 г.) З. Н. Гиппиус сказали, что Розанов, живший в Троице-Сергиевом Посаде, «такой нищий, что на вокзале собирает окурки». Потом — будто бы он расстрелян.

Тогда З. Н. Гиппиус написала Горькому письмо, содержание которого она излагает так: «...вы, вот, русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам “правительства” большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю — Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете ли вы, по крайней мере, сообщить, верен ли этот слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голод-

ный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей “власти”. Вы когда-то стояли за “культуру”. Ценность Розанова как писателя вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух...»

З. Н. Гиппиус прибавляет об этом письме: «Что-то в этом роде; кажется, резче. Не все ли равно?» Далее она негодует: «Горький, конечно, мне не ответил». Признаюсь, по-моему, он поступил очень хорошо: что можно ответить на оскорбления, основанные на нелепых слухах? Дело в том, что Розанова не только не расстреляли, но он даже и арестован не был. Далее, З. Н. Гиппиус сообщает, будто Горький «поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове и, когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег». Все это сообщено с чужих слов и — неверно. Горький никому не давал таких поручений, ибо знал, что Розанов на свободе. Что же касается до посылки денег, то, как видно из письма, сама З. Н. Гиппиус Горького о том не просила. Об этом позаботились другие. И опять — не было здесь, конечно, ни «приспешников», ни клеветов, никаких вообще тайн мадридского двора. Просто — пришел ко мне покойный Гершензон и попросил меня позвонить Горькому по телефону и сообщить о бедственном положении Розанова. Я так и сделал, позвонив по прямому проводу из московского отделения «Всемирной литературы». За это получаем мы ныне титул «приспешников». Кстати сказать, «приспешник» Гершензон не был знаком с Горьким, а я к тому времени однажды разговаривал с Горьким минут двадцать — о Ламартине. Конечно, З. Н. Гиппиус не хотела нас оскорбить: она просто изменила своему правилу и записала с чужих слов, даже не зная, о ком идет речь.

Как бы то ни было, Горький прислал денег. «Немного», — сообщает З. Н. Гиппиус. Опять — «слух». Деньги передавал дочери Розанова я. Суммы не помню решительно, ибо даже не помню, на что тогда шел счет: на сотни, на тысячи или на миллионы. Помню только, что дочь Розанова сказала: «На это мы (то есть семья из четырех душ) проживем месяца три-четыре». Так ли уж это мало, когда речь идет о помощи частного лица?.. Сам Розанов в письмах к Гиппиус «все благодарил его» (то есть Горького). Но З. Н. Гиппиус прибавляет: «...за подачку: на картошку какую-то хватило». Очевидно, тоже с чужих слов.

К этому можно прибавить, что и самые слухи о крайней нищете Розанова были в Петербурге несколько неверно освещены. Мы, москвичи, знали, что Розанову очень трудно. Но — мы все голодали, распродавая последнее. Иным и продавать было нечего. И — были люди, которые завидовали Розанову. Дело в том, что не только «собственность Горького всегда была неприкосновенна», как сообщает

З. Н. Гиппиус, но и собственность Розанова фактически оказалась такова же: он голодал, но не хотел продавать свою нумизматическую коллекцию, представлявшую большую ценность и находившуюся у него в неприкосновенности. Конечно, расстаться с нею для Розанова было бы ужасно. Мы это понимали, но понимали и то, что *объективных* причин голодать было у него меньше, чем у других... Однажды случилась беда. Розанов повез часть коллекции в Москву, кому-то на сохранение. Приехал поздно и, боясь идти по темным улицам, остался ночевать на Ярославском вокзале. Тут и украли у него сверток. Говорили, что этот случай подействовал на старика ошеломляюще. Окурки же... очень возможно, что он и стал собирать их, но не было ли и тут некоего «надрыва», а то и «стилизации»? Ведь прибедниться, принизиться, да еще после такого удара, — все это было вполне «в стиле» Розанова. З. Н. Гиппиус очень чутко и глубоко указала, что обычные критерии «правды» и «лжи» к нему неприменимы. Морально — да, но фактически и ложь не становится правдой оттого только, что ее произносит Розанов.

Я остановился на этих частностях не для того, чтобы, «начав за здравие, кончить за упокой». Отдельные неточности неизбежны в каждом воспоминании. Не портят они и прекрасную, нужную книгу З. Н. Гиппиус. Если же в этой статье мои поправки и дополнения заняли сравнительно много места, то это лишь потому, что всякая детализация всегда пространна.

Раз уж дело пошло о дополнениях — я сделаю еще одно. Рассказывая о Сологубе и его покойной жене, З. Н. Гиппиус пишет, как они собирались в Париж, но их не выпустили из России. Это не совсем так. Ни З. Н. Гиппиус, ни сам даже Сологуб не знают некоторых подробностей этой истории. Весной 1921 года Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока — задержать. Узнав об этом, Луначарский написал в Политбюро истерическое письмо, в котором, хлопоча о Блоке, погубил Сологуба. Содержание письма было приблизительно таково: «Товарищи! Что вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, задерживая Блока, который — поэт революции, наша гордость, и о котором даже была статья в Times'е! А что такое Сологуб? Это наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционного памфлета "Китайская республика равных"...» Дальше следовали инсинуации, которых я не хочу повторять. Зачем нужно было, обеляя Блока, чернить Сологуба, — тайна Луначарского. Как бы то ни было, его донос на Сологуба я читал в подлиннике. Он датирован, кажется, 22 июня 1921 года. Политбюро ему вняло. Сологуба задержали, а Блоку дали запоздалое разрешение, которым

он уже не мог воспользоваться. Осенью, после смерти Блока, заграничный паспорт Сологубам все-таки выдали. Но к этому времени душевные силы Анастасии Николаевны были уже окончательно надорваны. Она несколько раз откладывала отъезд, пока не кончила самоубийством.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Г. В. Адамович

<«АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ» В. РОЗАНОВА>

Во втором выпуске «Верст» перепечатан «Апокалипсис нашего времени» — последние, предсмертные статьи Розанова, издававшиеся отдельными книжечками в Сергиевом Посаде в 1918 году.

Мало кто с этим «Апокалипсисом» знаком. В России его нигде не было видно; здесь о нем не все даже и слышали. Перепечатав его, «Версты» поступили более разумно, чем в прошлый раз, когда они ни с того ни с сего вздумали «обнародовать» знаменитое «Житие протопопа Аввакума».

Начинаешь читать «Апокалипсис» с любопытством. Очень скоро любопытство сменяется увлечением, растущим с каждой строчкой. Не могу представить себе, чтобы кто-нибудь мог оторваться от этих пламенных страниц, не дочитав их, не заразившись их *страстью* и грустью. «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти», — сказал когда-то Розанов о самом себе, — кажется, в «Уединенном». Он забыл добавить: «и из страсти». Или, может быть, «страсть» настолько заполняла его существо, являлась столь основной «субстанцией» этого существа, что он ее и не замечал, как бы не будучи в состоянии взглянуть на нее со стороны. Розанова многие в наши дни разлюбили. Признаюсь, что и я — один из этих «многих». Упоминаю об этом только для того, чтобы иметь возможность убедительнее и яснее говорить о нем. Были годы, когда для меня не существовало другого писателя, другого ума, другого круга мыслей, даже другого стиля. Потом настало медленное охлаждение, и, когда я пытаюсь беспристрастно разобраться в причинах этого охлаждения, мне думается, что есть в нем и розановская вина. Розанов, в конце концов,

все-таки — гениальный *болтун*, писатель без тайны, без божественного дара умолчания, сразу вываливающий все, что знает и думает. В таких писателей можно влюбиться, но им трудно оставаться верными. Все договорено, все объяснено, вся душа обнаружена, — и в конце концов становится скучно. Как не понял этого Розанов, вечно писавший о «музыке» мысли и сам лишивший музыки свою мысль, по природе на редкость «музыкальную», на редкость тонкую и сложную! Бесстыдство, бессовестность стиля погубило ее. Есть ведь на высотах мысли нечто подлинно «несказанное». Об этом между писателем и читателем существует круговая порука: «помолчим». Розанов не выдержал. Нарушил молчание, попытался все уложить в слова, каждому изгибу сознания, каждой миллионной доле мысли или чувства найти словесное отражение. И действительно нашел. Розановский стиль есть действительно чудо. Но чего достиг он этим чудом? Повторяю: в конце концов только скуки. Может быть, у другого беднее была душа, суше ум, но другой не вывернул себя наизнанку, и что-то в нем осталось неведомым. Остался — по розановскому выражению — «просвет в вечность». Со всем своим богатством Розанов покажется рядом грубоват и плосковат.

Эти общие рассуждения о Розанове могут найти сочувственный отклик — в чем я далеко не уверен — только у тех, кто очень хорошо с ним знаком. Тем же, кто еще не пережил первичной стадии влюбленности в этого писателя, — единственного по своеобразию мысли, по ее остроте и прозорливости, — можно только с завистью посоветовать прочесть его. И лучше не самые последние его вещи, не «Опавшие листья» (ни в каком случае! — там девяносто девять процентов размягчения, расслабления, под влиянием начавшейся славы и, вероятно, сознания, что «я особенный, оригинальный», «мне все позволено», «все мое интересно» и т. д.), ни даже «Уединенное», а прекрасный и суровый «Темный Лик» (первый том «Метафизики христианства»). «Апокалипсис нашего времени», конечно, слабее этой книги, но он самое замечательное из всего, что написано Розановым за последние десять лет его жизни. Он много глубже, напряженнее, серьезнее, чем «Опавшие листья».

В «Апокалипсисе» Розанов говорит о революции и о гибели русского государства. Для него это гибель окончательная и бесповоротная. Он причитает, плачет, воем над «останками Руси великой». И самым ужасным ему кажется то, что Русь погибла так бесславно.

Что такое совершилось для падения Царства? Буквально, оно пало в будень. Шла какая-то «середина», ничем не отличаясь от других. Ни воскресенья, ни субботы, ни хотя бы мусульманской пятницы. Буквально, Бог плюнул и задул свечу. Не хватало провизии, и около

лавочек образовались хвосты. Да, была оппозиция. Да, царь скапризничал. Но когда же на Руси хватало чего-нибудь без труда еврея и без труда немца? Когда же у нас не было оппозиции? И когда царь не капризничал? О, тоскливая пятница или понедельник, вторник...

Можно же умереть так тоскливо, вонюче, скверно. Актер, ты бы хоть жест какой сделал. Ведь ты всегда был с «готовностью на Гамлета». А то даже Леонид Андреев ничего не выплюнул. Полная проза.

Да, уж если что «скучное дело», то это — падение Руси. Задудло свечку. Да это и не Бог, а... шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо. Мерзко. «Ты нам трагедии не играй, а подавай водевиль.

Тон этих размышлений уныло-безжизненный. Но мало-помалу от России, царя и революции Розанов переходит к двум вечным своим темам — Христу и еврейству. И в последний раз он впивается, вгрызается зубами в эти темы, он дописывает свои предсмертные мысли, свое завещание. Некоторые страницы «Апокалипсиса» о Христе и в особенности о евреях — вполне удивительны и прекрасны. Для меня нет сомнений, что понастоящему Розанов только это и любил в мире: Христа и евреев. Нельзя столько разглядеть, не любя, нельзя столько понять, не любя. И перед Христом, и перед еврейством Розанов был «ужасно грешен». Некоторые читатели усмехнутся, вероятно, прочтя, что «Розанов любил евреев». Репутация его ведь общеизвестна: крайний юдофоб. Добавим к слову «любил» — «считал наиболее важным», «относился с большим вниманием» и т. д., но самое слово все-таки оставим. Да, было «Новое Время», даже «Земщина» с псевдонимом Варварина, статьи по делу Бейлиса, выпады, глумления. Но, во-первых, душа, создавшая все это, «сплетена из грязи, нежности и грусти», во-вторых, в этой душе уживались невероятные, беспримерные противоречия и путаница и, в-третьих, «Новое Время» и «Земщина» — это публицистика, совершенно несравнимая по тону с предсмертными вдохновенными гимнами, которые с умилением и страстью слагал этот «юдофоб» еврейскому народу. Прочтите в «Апокалипсисе» рассказ о встрече в трамвае или о Суламифи.

Еще грешнее чувствовал себя Розанов в отношении Иисуса Христа. Никто никогда не восставал с такой силой на Евангелие. Но оказалось, что вся логика доводов, вся «сатанинская» сила обличений и дерзость критики — все это лишь для того, чтобы тем большую жертву принести Учителю, от больших благ ради Него отречься, с большей сладостью ощутить подвиг отречения. Лев Шестов заметил когда-то, что из русских писателей один только Розанов «умеет произносить имя Божье». Вместе с Шестовым это почувствовали и русские священники, «попы», как их презрительно называл Розанов, и, почувствовав, поняли, что он, Розанов, не страшен и от них не уй-

дет. Розанов действительно не ушел: умер он в полном смирении и подчинении Церкви. Это давно можно было предугадать. Еще в «Метафизике» он восклицал: «Да сияют эти образа вечно!» — наперекор всей книге, всему своему замыслу.

В «Апокалипсисе» Розанов собирает последние доводы против христианства. Чувством он уже окончательно побежден. Но разум еще борется и ни за что не хочет уступить. Примирения разума с чувством не произошло, и умер Розанов с «credo quia absurdum» в душе или, вернее, «люблю quia absurdum».

Не примирил он в себе ни страха перед Иисусом Христом — «царем ужаса» с обожанием его образа, ни своего влечения к евреям, «нежнейшему из народов мира», с борьбой против них, ни преданности великодержавной Руси с горьким сознанием того, что Русь — лишь пьяная баба, растянувшаяся лицом в грязь. Но как-то по-своему, по-розановски, он умер успокоенный и просветленный. Начало этого предсмертного просветления отражено в его «Апокалипсисе».

М. А. Курдюмов (М. А. Каллаш)

О РОЗАНОВЕ

I

Во всей литературе русской нет писателя, так до конца влившего себя в свои произведения, как Розанов. У него «жизнь и творчество» не две параллельные линии, а одна общая. Нельзя себе даже представить, чтобы кто-нибудь написал «биографию Розанова» как некое дополнение и разъяснение к его писательству. Что может *разъяснить* в нем бледная канва, на которой бледным узором академического письма будут выставлены даты: рождения, школьных лет, университета, первых выступлений в печати и пр.? После того, что он сам о себе сказал на полустраничках «Уединенного» и «Опавших листьев», в изумительных по краткости и жгучести своей отдельных фразах и словах, что еще можно сказать? Розанов как никто в писательстве своем *воплотился* не только с идеями и суждениями, но с тончайшими вибрациями своей души. Весь трепет мысли и сердца и о большом, и о малом в его книгах; точно перо его само собой, как чувствительнейший прибор, отмечало все его внутренние колебания. Иногда его жутко читать: кажется, будто непрошенно подслушиваешь чью-то исповедь, и не литературную «исповедь», нарочито приготовленную для печати, а интимнейший голос «к самому себе», вздох, шелест души...

В писаниях Розанова перед нами «сокровенный сердца человек» в полном обнажении. Темы его — они так же неисчислимы и многоцветны, как брызги весеннего дождя на дереве, переливающиеся при солнце.

Ни к какой *определенной* категории творчества его нельзя сопчислить, он в ней не уместится.

Философ, мыслитель? — Да, но не только философ и мыслитель... Художник? В смысле писания «рассказов и повестей» — нет, ибо так называемой «беллетристики» он не оставил, но в смысле яркого и тончайшего отображения души и жизни человека, в смысле приметливости все схватывающего глаза — конечно, художник, и перво-классный. Он и в философии мыслит образом и от образа. Впечатление внешнего мира коснется его души, и сейчас же создается образ, иногда от всколыхнувшихся воспоминаний, а образ ведет за собой мысль, порой совсем неожиданную, но почти всегда пронизывающую.

Мышление Розанова, как грозное небо, прорезываемое молниями. Молнии эти вспыхивают то здесь то там, ослепляют и исчезают, иногда ломаются причудливыми зигзагами вверх и вниз, точно взлетают к небу или падают в притягивающую их глубокую черноту земли.

— Я никогда не догадывался, не искал, — говорит он («Оп<авшие> л<истья>»), — не подглядывал, не соображал. Эти обыкновеннейшие способности совершенно исключены из моего существа.

Но меня вдруг поражало что-нибудь. Мысль или предмет.

Или «вот так бы (*оттуда* бы) бросить свет». «Пораженный», я выпучивал глаза: и смотрел на эту мысль или предмет, или «*оттуда-то*» — иногда годы, да и большею частью годы.

В отношении к предметам, мыслям и «*оттуда-то* у меня была зачарованность. И не будет ошибкой сказать, что я вообще прожил жизнь в каком-то очаровании.

Она была и счастлива, и очень грустна.

Воплотившийся в свои книги, Розанов был ли абсолютно автобиографичен в обычном смысле этого слова? Нельзя этого сказать. Он писал о себе и из себя; но и *через себя* пропускал такие снопы лучей и такое богатство звуков, что его как будто неизменная тема «о себе самом» была, в сущности, откликом на все. Свое «я» было у него отправной точкой понимания мира и взгляда на мир. Он мог писать только о том, что согревалось его собственной теплотой, теплотой любви, сочувствия (иногда жаром гнева и отвращения); чуждое ему и чужое — его или не интересовало, или раздражало. Люди, факты, идеи, тревоги, мучительные своей безответностью вопросы — все это могло пройти через Розанова, но, прежде чем пройти, должно было как-то *уродниться* ему, вселиться в его плоть и кровь. Потому о так называемых «общих проблемах» он говорит с такой страстностью, как о своем личном ощущении, личной боли или радости.

По отношению к вне лежащему миру Розанов, в силу своего темперамента, в силу потребности держать своими руками то, о чем он

говорит, как-то *обонять предмет*, — в высшей степени субъективен; во всяком случае кажется субъективным. Но когда он говорит персонально о самом себе, смотрит на себя, вникает в себя — он способен на то, на что, кажется, никто из людей, а особенно из писателей, совершенно не способен: он умеет видеть себя со стороны чужими глазами и изображает себя как посторонний объект, иной раз до жестокости откровенно.

Потребность изображать себя в большей или меньшей мере свойственна каждому художнику слова, но это совсем другое: подход иной, иное самоощущение. В романе, в рассказе, в пьесе под маской героя автор может выговорить очень интимное, даже порочное, даже почти преступное о себе. В этом есть своеобразная, может быть, острота и прелесть — высказать все, но чужими вымышленными устами.

Затем, не надо забывать, что, высказывая до откровенности, под прикрытием литературного «домино», самое потаенное, писатель непременно положит ретушировку; неизбежно, инстинктивно положит такой «психологический мазок», что «порочное или почти преступное» будет воспринято как драматическое, даже трагическое. Драматизм или даже трагизм будет уже в самом факте признания и смягчит читателя, если не примирит его совсем.

Вообще, самое страшное преступление не возмутит, когда совершивший его сам о себе расскажет с «дрожью в голосе».

Но вот спокойно показать публике, скажем, бородавку на собственном носу, уже без всякой ретушировки, обыкновенную «пошлую» бородавку, — на это никто не способен. Способен только один Розанов. И он сумеет взглянуть на эту бородавку, на всякие вообще свои «бородавки» без всякого психологического предисловия, без смягчающего драматизма, как бы говоря: «Смотрите, какой я неказистый, но я этого ничуть не скрываю и прихорашиваться перед вами не хочу».

Прихорашиваться и прихорашивать не в стиле Розанова. Он весь вне малейшего намека на позу, на красоту, на то, чтобы понравиться. Не стыдится мелкого, ничтожного в «немощи» человеческой; всякая «немощь» его, во-первых, жалобит, во-вторых, она ему существенно нужна, ибо без «подробностей», самых даже мизерных, человек для него не полон и не закончен. А Розанову именно человек нужен, со всеми его «бородавками», а отнюдь не герой из романа. И чтобы ни одной «бородавки» не упустить, он обращается к себе:

Собственно мы *хорошо знаем* — единственно *себя*. О всем прочем — догадываемся, спрашиваем. Но если единственная «открывшаяся действительность» есть «я», то очевидно и рассказывай об «я» (если сумеешь и сможешь). Очень просто произошло «Уед.»

«Почему я издал “Уедин.”?» — спрашивает он себя в другом месте, как бы опять проверяя эту свою потребность говорить об «я», и отвечает крупно подчеркнутым:

— НУЖНО.

Точно потянуло чем-то, когда я почти автоматически начал нумеровать листочки и отправил в типографию.

Да «эготизм»: но чего это стоило!

Отсюда и «Уедин.». Как попытка выйти из-за ужасной «занавески», из-за которой не то чтобы я не захотел, но не *мог* выйти...

Это не физическая стена, а духовная. — о, как страшнее физической...

...«Уед.» есть усилие расширить дыхание и прорваться к людям, которых я искренно и глубоко люблю.

Люблю, но не чувствую. Ловлю — но воздух. И как будто хочу сказать слово, а пустота не отражает звука.

Ведь я никогда не умел себе представить читателя (совет Страхова). Знал — читают. И как будто не читают. И «не читают», «не читает ни один человек» — живее и действительнее, чем что читают многие.

Розанов всю свою жизнь из себя и через себя *писал человека*: книгами, страницами, отдельными строчками (а его строчки стоят целых книг!). Писал *внутреннего человека* без всякой «фабулы», а так, в повседневных каких-то движениях, во внешних характерных мелочах, в еле заметных душевных содроганиях и поворотах. Из «внутреннего человека» выросли и сложились огромные его темы: О Боге. О Христе и Церкви. О проблеме пола.

Но Розанов не мог писать так, чтобы, «исчерпав вопрос», успокоиться на время сознанием, что ему удалось «высказать свою точку зрения» во всей полноте. Эти темы, как всякие его темы, не были для него «предметом суждения», а какой-то *органической гостью его существа* и жили в нем самом как боль, почти физически ощущаемая. О боли нельзя забыть, если и расскажешь о ней, потому что чувство боли от самого точного его описания не прекращается. И эти розановские темы не прекращались никогда.

Тот, кто Розанова не чувствует и не любит (потому что не понимает), читая его не только в нескольких книгах, но даже в одной, может иногда поразиться обилием противоречий, внешне доходящих иной раз просто до несообразности. Однако эти противоречия доказывают лишь глубочайшую его последовательность в самом себе. Если бы Розанов только логически рассуждал, он, конечно, сохранил бы полное формальное согласование выводов и предпосылок. Но он *живет в теме, и живет темой*, она становится частью его сердца, которое бьется то медленно, то учащенно. Совершенно правдиво говорит он, что не видит читателя и не представляет его. Он как бы говорит

сам с собой о своем, а не «читает лекции в аудитории», и то, что его отпугивает вчера, привлекает к себе сегодня: то, что ужасает сейчас, приносит примирение в душу через полчаса. Может быть, правильнее будет поэтому сказать, что у Розанова почти не встречается проблем, отвлеченно взятых, а есть книги о том, *как Розанов изживал в себе проблемы о Боге, о Церкви и т. д.* При таком, мне кажется, единственно возможном подходе к нему эта постоянная «перемена тока», которая чувствуется на его страницах, не только не смутит читателя, а подведет его вплотную к самому Розанову. Вообще же, не подойдя «вплотную», нельзя его читать; нельзя читать как «автора» только, но непременно как *Василия Васильевича Розанова*, принимаемого в сердце со всеми его «немощами» и «бородавками».

Единственная в литературе тайна розановского творчества заключается в том, что он и *автор, и действующее лицо одновременно, в какой-то совершенно исключительной нераздельности.*

Эта тайна его, розановского, гения — совершенно неповторимая, как неповторим он сам со всем капризно-причудливым богатством его внутренних «россыпей», как неповторимы и самые формы его литературных произведений.

II

В каком-то смысле Розанов был прав, когда говорил, что он «одолевает литературу», что им и в нем «кончается литература». По глубине и исчерпывающей полноте *выявления теловека в литературном слове*, действительно, после него, кажется, некуда уже идти. Розановская полнота требовала и особых форм творчества, вернее говоря, она разрушала все существующие формы, не вмещаясь в них никак.

Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины.

— Что это? — ремонт мостовой?

— Нет, это «Сочинения Розанова». И по железным рельсам несется уверенно трамвай.

Писателю необходимо подавить в себе писателя («писательство», литературшину). Только достигнув этого, он становится писатель; не «делал», а «сделал».

Литературу я чувствую, как штаны. Так же близко и вообще «как свое». Их бережешь, ценишь, «всегда в них» (постоянно пишу). Но что же с ними церемониться???!!!

Все мои «выходки» и все подробности: что я не могу представить литературу «вне себя», напр. вне «своей комнаты»..... Конечно, я знаю (вижу), что *есть* журналы, газеты и «как все устроено». Подписка и почта. Но «как в сновидении» и почти «не верю». Сюда я не прошусь и «имени своего здесь не реку». Вообще «тут» — мне все равно.

Дорогое (в литературе) — именно штаны. Вечное, теплое. Бесцере-
монное.

Поразительно впечатление *уже напечатанного*: — «не мое». По-
этому никогда меня не могла унижить брань напечатанного, и я ино-
гда смеясь говорил: «Этот дурак Ро-в всегда врет».

Но раз Афонька и Шперк, придя ко мне, попросили прочесть уже
изготовленное. Я заволновался и испугался, что станут настаивать.
И рад был, что подали самовар и позвали чай пить..... Когда в Рел-
фил. обществе читали мои доклады (по рукописи и *при слушателях*
перед глазами), — я бывал до того подавлен, раздавлен, что ничего не
слышал (от стыда).

В противность этому смятению перед рукописью (*гением*
ее), к печатному я был совершенно равнодушен, что бы там ни бы-
ло сказано, хорошо, дурно, позорно, смешно; сколько бы ни ругали,
впечатление — «точно это *не меня вовсе, а другого ругают*».

Таким образом, «рукописность» души, врожденная и неоодоли-
мая, отнюдь не своевольная и не приобретенная, и дала мне *тон* «У»,
я думаю, совершенно новый за все века книгопечатания. Можно рас-
сказать о себе очень позорные вещи — и все-таки рассказанное бу-
дет «печатным»; можно о себе выдумать «ужасы» — а будет все-таки
«литература». Предстояло устранить это опубликование. И я, кото-
рый наименее опубликовался уже в печати, сделал еще шаг внутрь,
спустился еще на ступень вниз против своей обычной печати (халат,
штаны) — и очутился «как в бане нагишом», что мне не было вовсе
трудно. Только мне, и одному мне. Больше этого вообще не сможет
никто, если не появится *такой же*. Но, я думаю, не появится, потому
что люди вообще индивидуальны (единичны в лице и «почерках»).

Тут не качество, не сила и не талант, а *suī generis generatio*.

Тут, в конце концов, та тайна (граничащая с безумием), что я сам
с собой говорю: настолько постоянно, и внимательно, и *страстно*,
что вообще, кроме этого, ничего не слышу. «Вихрь вокруг *дышит* из
меня и около меня, — и ничего не видно, никто не видит меня, мы
с миром не знакомы». В самом деле, дымящаяся головешка (часто
в детстве вытаскивал из печи) — похожа на меня: ее совсем не видно,
не видно щипцов, которыми ее держишь.

И Господь держит меня щипцами. «Господь надымил мною в ми-
ре».

Может быть.

Когда Розанов так говорит о себе, *ему нельзя не верить*. Он так се-
бя ощущал и говорил это себе, а не в публику. А когда ощущал другое,
то другое и говорил.

И вот с этой открытостью себя, с обнаженностью всего се-
бя, именно «нагишом» явился он в такую пору в России, когда его
время было ему *современно* исключительно только хронологиче-
ски. «Литературность», а во многом и «литературщина» владели

всем — умами, вкусами, «убеждениями» и «направлениями». Все должны были — каждый в своей области (актер, т. е. действующий на той или иной сцене, и зритель — одинаково) — носить известную форму — «Uniform» с точно установленным количеством пуговиц и кантиков, с соблюдением цветов своего «ведомства» политического (вернее, революционного и оппозиционного), общественного, творческого (литература, искусство).

Особенная невидимая цензура тяготела тогда над всякой мыслью — внутренняя цензура самой «интеллигенции». Царила *«диктатура прогрессивности»*, нетерпимая, прямолинейная. Она зорко следила за каждой пуговицей на «Uniform»: «дома у себя» делай что хочешь, но на общественные смотры потрудись являться в полной парадной форме.

Уважения к человеку, к «я», совершенно не было, оно заменялось культом «человечества». Ходивших без «Uniform», в «партикулярной одежде» зарывали в землю заживо. Так был живым похоронен Константин Леонтьев, еще раньше, до Розанова.

Талант сам по себе еще не давал права на «входной билет», требовалось быть «одетым»: потому, например, читали и *считали писателем* ну хотя бы Златовратского, а Леонтьева, даже его художественных произведений, прекрасных благоуханных повестей и рассказов, как «Очерки Крита», никто и в руки не брал.

Правда, когда явился Розанов, уже наступило некоторое ослабление гнета, но уступка была сделана не вглубь, а скорее вишь: допустили добавление в «программу дня» гонимой прежде эстетики (вернее, эстетствования) и «вопросов искусства», да еще кое-каких «вопросов».

И все же, сколь ни «либеральна» была наша «мыслящая» Россия (по сравнению хотя бы с чудовищными временами писаревщины) в последний период перед войной и революцией, Василия Васильевича Розанова не только «нагишом», но даже в его литературных «штанах» она легко переварить не могла. Не в том было дело, что он касался чуждых тогда и ненужных большинству читающей публики тем (Религия, Церковь, Христианство), а в том, что с блестящими «uniformes» обходился решительно без всякого стеснения.

Какого бы влияния я хотел писательством? — спрашивал себя Розанов.

Унежить душу.

А убеждения?

Ровно наплевать.

...Именно, что я писал «во всех направлениях» (постоянно искренне, т. е. об $\frac{1}{1000}$ истины в каждом мнении мысли), было в высшей

степени прекрасно, как простое обозначение глубочайшего моего убеждения, что все это «вздор» и «никому» не нужно...

Нужно разрушить политику... Нужно создать аполитичность.

Бог больше не хочет политики, залившей землю кровью... обманом, жестокостью.

Как это сделать? Нет, как *возможно* это сделать?

Перепутать все политические идеи... Сделать «красное — желтым»; «белое — зеленым», — «разбить все яйца и сделать яичницу».

Погасить политическое пылание через то, чтобы вдруг «никто ничего не понимал», видя все «запутанным» и «смешавшимся»...

И в лицо «прогрессивно мыслящим», прямо в глаза им, Розанов смотрит и кричит, уже *кричит* дальше:

А, вам нравилось, когда я писал об «адогматизме христианства», т. е. об отрицании *твердых*, жестких, неуступчивых костей в нем... Аплодировали.

Но почему?

Я-то думал через это мягкое, нежное, во все стороны подающееся христианство — указать возможность «спасти истину».

Но аплодировали-то мне *не за это*, я это видел: а — что сокрушает *догматическую церковь*... Парное молоко потом само испарится, а пока и сейчас — сломать бы косточки, которые нам мешают и мы справиться с ними не умеем.

Меня пробрал прямо ужас ввиду всеобщих *культурно-разрушительных* тенденций нашего времени... «Все бы нивелировать... Одна — *пустыня*». Кому? Зачем?

А вот «нам», «политикам»... В стране, свободной от всего, от церкви, от религии, от поэзии, от философии, — Кузьмины-Караваевы и Алексинские разгулялись бы...

Тогда пойдут иные речи...

Но мне, ну вот именно *мне* (каприз истории) до последней степени тошно от этих речей. «Земля уже обернулась около оси», и «всемирная скука», указанием на которую я начал книгу о революции, угрожает теперь с другой стороны, — именно из «речей»...

Пусть они *потускнеют*...

Пусть *подсегется нерв* в них...

Савва в рассказе Максима Горького взрывает чудотворный образ, родник «народного энтузиазма», — «суеверного, ложного».

Ну хорошо. Потому что христианства не нужно! Вся Россия аплодировала.

«Политики» стали пятой на горло невест, детей, вдов (случаи, на которых я остановился в печати). «Кто не оставит отца и матери ради Имени Моего», — кричит политика...

«И — детей, и — дома ваши...»

«Хорошо, хорошо», — слушаю я.

Теперь дайте же полью серною кислотой в самый стержень, на коем «вертится» туда и сюда «политическая дверь», капну кислотой

в самую «сердечку», в самую «душку» их... Что такое? В *политическое убеждение* (то же, что «догмат» в христианстве). Ну, как? «Спорят»... «партии».

— Господа, — можно иметь *все убеждения*, принадлежать *ко всем партиям*... притом совершенно искренне! чистосердечно!! до истерики!!!

В то же время не принадлежать и *ни к одной*, и тоже «до истерики». Я начал, но движение это пойдет: и мы, философы, религионисты, — люди уже во всяком случае «высшего этажа», чем в каком топчутся политики, — разрушим мыслью своей, поэзией своей, своим «другим огнем», своим жаром, — весь этот кроваво-гнильный этаж.

В этих словах Розанова звучит уже не полемическая «публицистика сегодняшнего дня», а ему самому, может быть, еще не совсем ясное прозрение и предчувствие грядущей борьбы духа с «кроваво-гнильным этажом»...

Розанов в пророчествах своих редко подымается до пафоса; произносит их скорее про себя, тихо, задумчиво, иногда точно «бормочет», ни на кого не оглядываясь, но, когда ненавистное ему нестерпимостью своей в современной жизни нагло и самоуверенно пролезает вперед на «господствующие высоты» эпохи или момента, голос его становится как бич, который взвизгивает и бьет без всякого смущения.

Исчезнет политика, — он произносит это, как заклинание, как молитву, — яко исчезает дым, да исчезнут», потому что она мешает другому, *важнейшему* из «высшего этажа». Правда, порядок жизни должен как-то направляться и пусть направляется, но существенное и главное не в нем...

«Конечно, останется «управление», останется «ход дел», — говорит он дальше, — но лишь в *эмпиризме своем*: «вот факт», потому что он — *нужен!*»... Без всяких переходов в теорию и общую страсть.

«Нет-с, позвольте, — я *принципиально* этого не хочу...» Вот «*принципиально*»-то и будет вырвано из-под этих лошадей («политики»). — «Ты, пожалуйста, вези свой воз, а *принципы* — вовсе не дело вашего этажа». «О принципах» мы будем говорить с оракулами, первосвященниками и у подножия той чудотворной иконы, которую взорвал ваш неумный Савва.

«Принципы...» о них будут решать «песенка Гретхен», «принципы» будут решать «гуляки праздные» («Моцарт и Сальери»).

Будут решать «мудрецы» (в «Республике» Платона).

Если «политика» и «политики» так страстно восстали против религии, поэзии, философии: то ведь давно надо было догадаться, что, значит, *душа* религии, поэзии и философии в равной степени враждебна политике и пылает против нее... Что же скрывать? Политики давно «оказывают покровительство» религии, позволяют поэтам

петь себе «достойные стихосложения», «гладят по головке» философов, почти со словами — «ты существо хотя и сумасшедшее, но мирное». Вековые отношения...

У «политиков» лица толстые, лоснятся... (почти все члены Г. Думы, — озорно прибавляет Розанов, — огромного роста: замечательно!! Лошадиная порода так и светит из существа дела, «призвания»...).

Но не пора ли нам сказать, что дух человеческий решительно не умещается в их кожу, что дух человеческий желает не таких больших ушей; что копыта — это мало, нужны и коготь и крыло. «Мало, мало!» «Тесно, тесно!» Вот лозунг, вот будущее.

Если Розанов особенно не верил в возможность близкой и всеразрушающей революции в России, не мог себе представить, что у нас «завтра все обвалится», то те самые дрожжи, на которых эта революция уже всходила пузырями то тут то там, он ощущал по вкусу и по запаху. Сотвращением, порождаемым инстинктивным предчувствием будущего разложения, он набрасывался на то самое, что поощрялось и выращивалось заботливо всеми «прогрессивно мыслящими». Он ненавидел самую идею революции, ибо пророчески видел, какие элементы в ней восторжествуют, какие качества будут в ней господствовать.

Революция имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь *спелого, вкусного плода*; никогда не «завершится».

Она все будет расти в раздражение; но никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек говорит: «Довольно! Я — счастлив! *Сегодня* так хорошо, что не надо *завтра*...» Революция всегда будет с мукою и будет надеяться только на «завтра»... И всякое «завтра» ее обманет и перейдет в «послезавтра». *Perpetum mobile, circulus vitiosus*, и не от бесконечности, — куда! — а именно от короткости. «Собака на цепи», сплетенной из своих же гнилых чувств. «Конура», «длина цепи», «возврат в конуру», тревожный коротенький сон.

В революции нет радости. *И не будет.*

Радость — слишком царственное чувство и никогда не попадет в объятия этого лакея.

Два измерения; и она не выше человеческого, а ниже человеческого. Она механична, она матерьялистична. Но это — не случай, не простая связь с «теориями нашего времени»; это — судьба и вечность. И, в сущности, подспудная революция в душах обывателей, уже ранее возникшая, и толкнула всех их понести на своих плечах Конта-Спенсера и подобных».

Революция сложена из двух пластинок: нижняя и настоящая, *agereus* *agens* ее — горечь, злоба, нужда, зависть, отчаяние. Это — черно-

та, демократия. Верхняя пластинка — золотая: это сибариты, обеспеченные и не делающие; гуляющие; не служащие.

Итак, две пластинки: движущая — это черная рать внизу, «нам *хотется*», и — «мы не сопротивляемся», пассивная, сверху. Верхняя пластинка — благочестивые Катилины: «Мы великодушно сожжем дом, в котором сами живем и жили наши предки». Черная рать, конечно, вселится в дома этих предков: но как именно это — *черная рать*, не только по бедности, но и по существу бунта и злобы (два измерения без *третьего*), то в «новых домах» она не почувствует никакой радости: а как Никита и Акулина «в обновках» (из «Власти тьмы»):

Венцом революции, если она удастся, будет великое voloz'.

Самоубийства, эра самоубийств.

В то время как русская юная и пожилая «молодежь» на сходках студенческих и на банкетах «зрелых деятелей» пьянела от одной мысли о том, как все будет райски прекрасно, даже без всяких усилий и хлопот, немедленно после «ниспровержения существующего строя», и благоговела перед всякой оппозицией только за то, что она «оппозиция», Розанов, словно вешун, твердил свое:

¹ первые среди равных (лат.).

и ордена за *верноподданные чувства*» оппозиции и даже за грубую ей *лесть*. Такими «верноподданными», страстными и с пылом, были Писарев, Зайцев, Благосветлов: последний в жизни был невыразимый холуй, имел негра возле дверей кабинета, утопал в роскоши, и его близкие (рассказывают) утопали «в амурах» и деньгах, когда в его журнале писались «заливчатские» семинарские статьи в духе «все расшибем», «Пушкин — г...о». Но холуй ли, не холуй ли, а раз «сделал под козырек» и стоит «во фронте» перед оппозицией, — то ему все «прощено», забыто, получает «награды» рентами и чинами. Но что же это? Да это «придворный штат», уже готовый и сформированный для будущей и ожидаемой власти, для *les rois* в лохмотьях. Обертываясь, мы усматриваем *существо* дела: «не будите нас от *сновидений*», «дайте нам *сознать себя правыми* и *вегю* правыми, во всех случаях *правыми* — и мы зальем вас счастьем...» «Скажите, признайте, полюбите в нас полубога: и мы даже будем лучше самого Бога!!» Хлыстовский элемент, элемент «живых христов» и «живых богородиц»...

Вера Фигнер была явно революционной «богородицей», как и Екатерина Брешковская или Софья Перовская...

Представить себе, что все это писал, говорил русскому радикально настроенному обществу Розанов, при этом «нововременец Розанов» (так глубокомысленно измерил и определил его однажды один небезызвестный российский журналист), прямо в упор. Да и это ли еще он говорил!

И получался шум, крик, протесты, доходившие до скандалов.

— Когда раз в печати я сказал, что Желябов был дурак, то даже подобострастный Струве накинулся на меня с невероятной злобой, — рассказывает Розанов. — ...Струве закричал на меня, потребовал устранения меня от прессы, просто за эти слова, что Желябов — дурак.

Но никакие «репрессии» «честно мыслящих прогрессивных элементов» на Розанова повлиять никак не могли. При всем своем одиночестве он был силен прирожденной устойчивостью гения, который стоит на собственном корню и не зависит от случая, «успеха или неуспеха». Все таяквашие и улюлюкавшие на него слишком были мелки, для того чтобы его свалить с ног. Розанов мог испытывать (и испытывал порой) утомление, тоску, досаду, желание «выйти из-за ужасной занавески» своего вечного *soló* среди людей, но петь в унисон со всеми, перестать быть самим, — было для него органически невозможно. Самое дружное «негодование» против него критики и «общественного мнения», вопли печати — паники на него ни на минуту навести не могли, ибо он постоянно сознавал (не мог не сознавать), просто *ощущал* свой масштаб и их.

«Пресса толчет души, — мимоходом замечает Розанов. — Как душа будет жить, когда ее постоянно что-то раздробляет со стороны?..»
«...Печатная водка. Проклятая водка. Пришло сто гадов и нагадили у меня в мозгу».

По поводу травли против себя он иронически бросает фразу:

— Со времени «Уед.» окончательно утвердилась мысль в печати, что я — Передонов или — Смердяков. Merci.

Но эта неуязвимость у Розанова основывалась не только на пренебрежительном: «а судьи кто?». Он забронирован был от всех ударов и уколов именно тем, что *самая ось его души помещалась в «высшем этаже»*. Там все его интересы, его скорби, озарения, его борьба, в настоящем смысле этого слова... Его беспокойство за Россию, за будущее русского народа лежит совсем в иной плоскости, чем «конституция или самодержавие». Характерна в этом отношении записка его об издательстве «Путь»:

Спрашивал Г. о «Пути» и Морозовой...

Удивительная по уму и вкусу женщина. Оказывается, не просто «бросает деньги», а одушевлена и во всем сама принимает участие. Это важнее, чем больницы, приюты, школы.

Загаженность литературы, ее оголтело-радикальный характер, ее кабак отрицания и проклятия — это в России такой ужас, не победив который нечего думать о школах, ни даже о лечении больных и кормлении голодных.

Душа погибает: что же тут тело.

И она взялась за душу.

Конечно, ее понесли бы на руках, покорми она из своего миллиона разных радикалистов.

Она это не сделала.

Теперь ее клянут. Но благословят в будущем.

Изданные уже теперь «Путем» книги гораздо превосходят содержательностью, интересом, ценностью «Сочинения Соловьева» (вышла деятельность из «Кружка Соловьева»). Между тем книги эти все и не появились бы, не будь издательницы. Таким образом, простое богатство, «нищая вещь перед Богом», в умных руках сотворила как бы «второго философа и писателя в России, Соловьева».

Удивительно.

Нельзя не вспомнить параллельную деятельность тихого, скромного и умного священ. Антонова («Религиозные философы на Руси»).

Там поднимаются Цветков и Андреев.

Со всех сторон поднимаются *положительные зори*.

Уроди нам, Боже, хлеб —
мое богатство.

Но на этой мысли Розанов не останавливается. Он несется дальше. Именно несется, как почти всегда, неистовый и неуправляемый. Его захлестывает идея «чадородия», «многочадия» сама по себе, как цель, и почти что единственная цель мира. «Плодитесь и множьтесь» из первых страниц Ветхого Завета — воспринято им в смысле величайшей и главнейшей заповеди, данной Богом человеку и всему человечеству... И вот отступает на второй план, заслоняется и даже извергается как будто совсем вон из жизни ее высшая духовная линия. Розанов, весь кипя, бросается к Ветхому Завету, к иудаизму... «И будет потомство твое как песок земной...» — это пронзает его насквозь молнией.

Он уже захвачен не столько как мыслитель, а как художник, очарованный самым сюжетом картины, ее богатыми красками, сочностью колоритов, обилием фигур на широчайшем полотне.

...Вот, вот они идут, ветхозаветные патриархи и вообще люди, «хранящие завет», и с ними дети, и «дети детей их», и жены... (Розанов, в экстазе созерцателя, влюбленного в картину ветхозаветной древности, незаметно для себя приемлет даже полигамию, ему самому уже абсолютно чуждую.) Идет целый *род*, могучее племя, порожденное и размножившееся «от чресл» одного... И с ними стада, тоже многоплодные, верблюдов, «тучных тельцов», овец, ослов. Глаз не охватывает этого *колитества*, и радостно млеет сердце очарованного художника:

— Да, вот это самое Бог создал, благословил и этому, *только это* — умуд «в наследие землю»... Благословен Бог отцов наших!! — почти так говорит и чувствует Розанов, так он молится...

Култ размножения, религия *обилия* всяческого; и благодушно одобряющий обилие древний Бог древних отцов...

И вдруг: христианство. Иисус на кресте. Кровь, подвиг, боль Богочеловека, «за ны распятого» и «погребенного» и нас призывающего «возненавидеть мир» ради того неошутимого, неосязаемого и невидимого отсюда «Царствия Божия», где уже «не женятся и не выходят замуж»...

Розанов, переводя взгляд от мирно пасущихся стадами в земле Ханаанской людей и животных к Голгофе, вздрагивает и ошеломляется:

— Зачем?!! Зачем *Тебе*, Господи, это нужно?!!

Ты изгнал из храма «воллов и тельцов» с их уютным запахом «домашнего обилия», с их ласково лоснящейся шерстью, с их мирной жвачкой, и вот Ты Сам на древе крестном, и верующие в Тебя 'должны оставить все: все свои тихие радости быта, свою вкусную «жвачку», с чадами и домочадцами за общим столом бесчисленной семьи, в лоне стад и сладко усыпляющего «благорастворения воздухов»...

И настойчиво, с каким-то детским капризным упорством Розанов «пристает» к Богу, требуя от Него, чтобы Он полностью вернул обещанное и однажды уже дарованное людям в «те далекие времена»...

Но, обращаясь к Богу в новозаветном Его явлении миру, Розанов видит перед собою опять Сына Божия по-прежнему около креста и Голгофы. И все в нем, в Розанове, раздирается, ломается от глубочайшего недоумения, от недопонимания.

Он, Розанов, при гениальности своей, не постигает Троичности Божией, того, что «Я во Отце и Отец во Мне», не постигает провиденциальной историчности земного человеческого бытия, в котором раскрывается Единый в Трех Ипостасях. И еще: Розанов *не хочет принять трагедию Бога и человека*, а потому восстает против Бого-человека...

«Солнце-Христос», «моно-цветок Иисус», — «Лицо бесконечной красоты и бесконечной грусти», — говорит Розанов.

«Западное христианство, которое боролось, усиливалось, навело на человечество «прогресс», устраивало жизнь человеческую на земле, — прошло совершенно *мимо* главного Христова. Оно взяло слова Его, но незаметило *Лица* Его. Востоку одному дано было уловить Лицо Христа... Взглянув на Него, Восток уже навсегда потерял способность по-настоящему, по-земному радоваться, попросту — быть веселым; даже только спокойным и ровным. Он разбил вдребезги прежние игрушки, земные недалекие удовольствия, — и пошел, плача, но и восторгаясь, по линии этого темного, не видного никому луча, к великому источнику «своего Света».

Что понимает Розанов под «темным лучом»? Он проводит параллель между спектром солнца и Светом Солнца-Христа. «Свет, представлявшийся нам «белым», состоит из семи цветов», но так «казалось прежде», поясняет Розанов, а потом физика открыла другое: «...когда за границу крайней фиолетовой полоски спектра начали ставить разные растворы, то увидели, что они подвергаются сильнейшему действию “чего-то”, что уже не было ни светом, ни цветом».

«Это — *темные* лучи Солнца». Отсюда у Розанова и «Темный Лик» — «Лицо бесконечной красоты и бесконечной грусти».

В тайне слез *христианских* содержится главная тайна христианского действия на мир; ими преобразовало оно историю. Не бичами, не кострами, не тюрьмами: все это — бессилие тех, кто не умел плакать. Инквизиция — конец христианства, тюрьма — ниспровержение его. Нет, не здесь его центр.

Центр — прекрасное плачущее лицо.

«Нос victor eris» — «сим ты будешь побеждать».

В другом месте («Оп. л.») Розанов опять повторяет ту же самую мысль: «Христос открывается только слезам».

Ось, вокруг которой вращается борьба Розанова против Христа и христианства, кратко и резко очерчена им самим в двух фразах, брошенных на отдельную страничку «Оп. л.»:

Боль мира победила радость мира — вот христианство.
И мечтается вернуться к радости. Вот тревоги язычества.

Как же гениальный Розанов, Розанов-мистик, органически религиозный человек, сразу не постиг тайны Троичной слиянности, единства Отца и Сына? Как не понял последовательности Богооткровения и как он, тончайший и чуткий, не принял трагедии мира в отношении к Богу, а, ухватившись за мягкое руно ветхозаветных овец, захотел спрятаться в нем, зарыться с головой, чтобы не видеть Сына, а только Отца, причем *отдаленного* Отца, который будто бы «не мешает людям», Сын тревожит и мешает «радости мира»?

В Розанове это глубоко и сложно.

Он был настолько целен и искренен, что не мог ничего принимать просто разумом, одной работой уясняющего сознания, а непременно всем существом. Носить в себе веру «где-то там», в уголке мозга, или сердца, «на всякий случай», и при этом не беспокоить себя напрасно смущающими рассуждениями, как это делает большинство так называемых «верующих людей», для Розанова было невозможно. Он тогда только мог сказать «верую», когда это чувство пронизало бы его до самых костей, прошло бы через весь «состав» его. Но пока только «трепет пробегает» по жилам, хотя бы самый благоговейный и умиляющий, — Розанов будет упорно бороться. И на протяжении всей борьбы с Христом и христианством как часто он испытывал этот трепет, как восторженно взирал на будто бы «Темный Лик»!..

Эти трепеты-противоречия, может быть, самое прекрасное в Розанове своей глубоко человеческой, даже детской непосредственностью. Воюя против Христа, он себя Ему завоевывал и покорял. Он боролся с Христом, как древний Израиль боролся во сне с Богом.

И вся богоборческая или христовборческая жизнь Розанова с ее страстными метаниями, порывами, протестами — есть изумительная и глубочайшая в своей сокровенности история человека, ищущего Бога и стяжающего Его через все преграды мира, через все, захватывающее *мистическое прельщение миром*.

Избранным с детства святым Бог открывается сразу. На зеркальной поверхности и в прозрачной глубине их душ как бы отражается Лик Божий. Но это бывает в тишине. Тишина, детская *тихость души*: «Аще не будете как дети, не внидите в Царствие Божие». Но где буря, где сложность сплетений — там тяжкий путь.

Искушением Розанова, труднейшим его препятствием на пути ко Христу, было *мистическое прельщение миром*.

Не в вульгарном смысле этого слова мир соблазнял Розанова, нет. Соблазн этот слагался из жаления мира и людей; жаления их через себя; жалости к самому себе, доходящей до тоски, может быть слезной. Жалость, *боль* неунимающаяся, за себя и *через себя за всех*, — отталкивала его от трагедии христианства к кажущейся (*издали*) идиллии язычества и юдаизма.

Поэт и художник по своему складу и самому душевному органу восприятия мира, Розанов создал в мечте своей вот эту «творимую легенду» пасторального быта и бытия, а, ощутив, что мечта утешает его от действительности, в мечту поверил как в действительность и стал ее проповедовать как некую новую религию древней безоблачной и почти бездумной жизни на земле. Но при этом не заметил самого основного (именно *как поэт* не заметил), заключавшегося в том, что если бы его, Василия Васильевича Розанова, со всей тончайшей инкрустацией его души, перебросить через тысячелетия в очаровавшую его Ханаанскую землю, к стадам и к «детям детей», то он восстал и запротестовал бы там больше, чем протестовал и восставал в свое время здесь.

Христом дарованное возвышение нашей духовной личности, ощущающей себя индивидуально-крепким ядром, — почти отсутствовало в то время, которым «из прекрасного далека» любитесь Розанов.

Смерть... бессмертие... Что *со мной* будет после смерти? — вот томительная тревога вопрошания вечности, которая не угасала в Розанове ни на минуту. В «поэзии» его очень хорошо и убедительно выходило, что человек бессмертен в роде своем, в своих рождениях; что «умерло двое, а осталось четверо», следовательно, жизнь побеждает смерть. Но так звучало в «поэзии» по Ветхому Завету, где просто с *немыслимой для христианского сознания покорностью естественным процессам природы* человек жил и множился, дабы на конце своего размножения (когда уже корень засох и плодов нет, подобно старой срубленной яблоне) «приложиться к отцам».

Ветхозаветный человек не знал христианского воскресения: «...егда вси сущии во гробех услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут».

Реальность воскресения личного — Христова весть миру, принесенная Им не только Словом обетований евангельских, но восстанием от мертвых Самого Его, Господа Иисуса.

А Розанов не может обойтись без веры в личное реальное бессмертие и не хочет довольствоваться только тем, что после него «останутся четверо», и голая статистика жизни одолеет. Арифметиче-

ских плюсов ему слишком мало, и «приложиться к отцам» он тоже не согласен, когда говорит: «Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не заплатывается», с тех пор как была... Это лучше «бессмертия души», которое сухо и отвлеченно (в платоновском смысле).

Я хочу «на тот свет» прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше...

И хочется ему, Розанову, на эту немножко озорную детскую выходку относительно «носового платка на том свете» (как характерны для него эти выходки!) сказать:

— Вас. Вас., но ведь из Ветхого Завета вам бы уже никак с носовым-то платком никуда не пройти, да и вообще там таких *индивидуальных* подробностей совсем не было! Там лица как-то *не замечались*. Выступали отдельные особенно яркие и одухотворившие себя личности, но их было сравнительно мало, а остальные перечислялись и считались *семьями, родами, племенами*, вообще *группами*, а не *поодиночке*.

Насколько в Ветхом Завете самими людьми того далекого и никогда до конца не постижимого нами времени личность как таковая мало принималась во внимание и вообще *количество* господствовало над *качеством*, видно из поразительной (для нас) одной черты в Книге Иова.

Когда диавол, искушая Иова, наводит на него все страшные бедствия, Иов лишается и своих детей. Но потом Господь *все* возвращает Иову, как бы вознаграждая его полностью и даже с избытком за многострадность его, за смиренную покорность. И Ветхий Завет рассказывает, что в замену погибших детей у Иова родилось *новое потомство*.

Для ветхозаветного человека, даже для Иова, в замене *одних детей другими*, по-видимому, особенной трагедии не было. В главнейшем он возмещен — потомство его многочисленно.

И в рассказе библейском *другое потомство* и *другие стада волов, верблюдов и овец* как бы стоят на одной плоскости как отдельные составные части целого — т. е. *благополучного обилия во всем*.

Там, где рождаемость — цель, там понятно, что утешает человека обетование «умножить потомство, как песок земной». Ветхозаветный человек иного и большего *не вмещал*.

И об этом забывает Розанов. Забывает, что при жизни своей он сам не только бы не согласился заменить ни одного из своих детей, но ведь не примирялся даже с мыслью, что его приятель Шперк умер, и говорил: «Невозможно, чтобы его *не было*, и не только его,

Шперка, но чтобы даже его рыжая бороденка могла исчезнуть». И вот из стремления где-то, хотя бы в вечности, найти своего Шперка «с рыжей бороденкой» у него и явилось желание «на тот свет прийти с носовым платком».

И еще Розанов не заметил, просто упустил из поля зрения в страстной горячности своей проповеди ветхозаветного многоплодия, что Христос, который, как кажется Розанову, *отнимает радость у людей*, поступает совсем иначе в Новом Завете, чем было поступление с Иовом в Ветхом.

Там — замена (по требованию количества самим человеком) многих умерших детей; здесь — участие Богочеловека к горю потери единственного ребенка: Христос воскрешает дочь Иаира и сына вдовы Наинской.

Почему же «темный Лик»?

«Темнота», приписываемая Лику Христову, навеяна на Розанова, во-первых, тем, что христианство всю жизнь человеческую (по словам о. П. А. Флоренского) перенесло в иную плоскость, а тем самым и «многоплодие» отошло на второй план; во-вторых, Розанов склонен «слезы» рассматривать как следствие христианства («Центр — прекрасное плачущее лицо»).

Но разве «утро человечества», как называет Розанов язычество, не знало страданий и слез? Разве не было страданий и в Ветхом Завете около бесчисленного потомства и стад?

И вот тут очарованность художника обманула Розанова — он чего-то существенного недоглядел на своей картине через завесу тысячелетий.

В Сладчайшем Иисусе мир потерял свою привлекательность, плоды его стали горьки, мир «прогорк» — ибо мир уже больше не пленяет и не влечет к себе. Влечет только Иисус.

Иисус действительно прекраснее всего в мире и даже самого мира. Когда Он появился, то, как солнце, — затмил Собой звезды. Звезды нужны в ночи. Звезды, — это искусства, науки, семья. Нельзя оспорить, что начертанный в Евангелиях Лик Христа, так, как мы Его приняли, так, как мы о Нем прочитали, — «слаще», привлекательнее и семьи, и царств, и власти, и богатства. Гоголь — солома перед главой из евангелиста. Таким образом, во Христе — если и смерть, то сладкая смерть, смерть — истома. Отшельники, конечно, знают свои сладости. Они томительно умирают, открешиваясь от всякого мира... Как только вы вкусите сладчайшего, неслыханного, подлинно небесного, — так вы потеряли вкус к обыкновенному хлебу... Великая красота делает нас безвкусными к обыкновенному. Все «обыкновенно» сравнительно с Иисусом... И когда необыкновенная Его красота, прямо небесная, просияла, озарила мир, — сознательнейшее мировое существо, человек, потерял вкус к окружающему миру.

И вот из этого Розанов выводит очень парадоксальное заключение, что по мере того, как мир «внимательно глядит на Иисуса, он бросает все и всякие дела свои и умирает». По мысли Розанова, видение Бога, приближение к потустороннему — уже смерть и потому будто бы и «тон Евангелия грустный *предсмертный*». И начинается «погребение всего мира во Христе», а потому Христос есть «трагическое лицо», «вождь гробов», «изнанка Бога», как смерть — «изнанка рождения». И Розанов ставит на разрешение: если «мир», «бытие», «жизнь наша» — не божественны, значит, «гроб», «тот свет», «после кончины» — божественны. Или если наоборот, то выходит, что жизнь божественна, а «гроб» и «тот свет» — демоничны. И Розанову почему-то «очевидно» (было в то время очевидно), что «Иисус — это “Тот Свет”, поборающий “этот” наш и уже поборовший», а следовательно, по Розанову, Иисус «демоничен».

Недосказанное до конца словами, но указанное всем ходом мысли Розанова утверждение, что Христос «демоничен», — есть та вершина искушения, на которую привела его подлинная уже *«темнота»* соблазняющей мирской «прелести». На голой черной скале у самого края пропасти остановился Розанов... Потом начал медленно отходить и медленно же спускаться с черной скалы, все еще повторяя *свое*, но уже не так уверенно и не так очерченно резко.

Тяготение неисследимой и страшной тайны *первородного греха* над духом человеческим ощущается в этом соблазне Розанова. Христос избавляет верующих в Него от первородного греха — «клятвы закона»; на противящегося Христу «клятва закона» давит с особенной силой. Розанов, восставая против Христа, как бы подпал «тяге земной», темной власти темной земной стихии, поврежденной грехом мира.

И поразительно то, что греховная земная стихия наложила свою *пегать искажения* на самые дорогие для Розанова (в период его борьбы с Христом и христианством) мысли, положения и восприятия. Казалось, что он смотрел на мир как-то вкривь, точно через уродующие стекла, и что-то видел увеличенным, а чего-то совсем не замечал.

«Проблема пола», сросшаяся в Розанове с культом ветхозаветного примитива жизни, будучи поставлена все-таки вне христианства, несмотря на глубину и серьезность постановки, получила узкое и одностороннее освещение. При всей справедливости многого из сказанного по этому вопросу Розановым, главное он оставил в стороне: сложную духовную личность человека и ее *всякий раз индивидуально окрашенные* проявления в жизни пола. Розанов как будто видел перед собою только один животный организм и его законы и требования, на защиту которых он горячо становился. Отстаивая права природы,

ограждая их чистоту, он настолько перегибает все в сторону физиологических процессов и так упорно подавляет ими все остальное, что идеология брака подчас переходит у него просто в «гигиену брака», в заботливое, любовное, очень мудрое и очень предусмотрительное попечение о каком-то человеческом питомнике, от которого, правда, пышет силой физического здоровья, но от которого совершенно отлетела многозвучная гамма духовных переживаний, все богатство поэзии и красоты настоящей человеческой любви.

Причину этому, так же как и причину его прельщения миром, следует искать не только в самой натуре Розанова, но в слагаемых его собственной жизни.

Н. А. Бердяев в одной своей давно написанной статье о Розанове¹, блестяще отражающей выпады Розанова против христианства, называет его «гениальным обывателем».

Такое определение необычайно тонко и остроумно. Приверженность Розанова к дому и к семье как к своему *гнезду* и ко всякой мелочи в этом гнезде, даже самой пошлой и ничтожной, любование мелочами — все это выступает чрезвычайно наглядно...

Но не впился ли Розанов в это гнездо и в культ мелочей вследствие жуткого убожества своего детства, тяжелой неприглядности всего своего существования до свития гнезда?

«Бедные люди» Достоевского считаются изумительным документом по раскрытию глубоких чувств в узеньких щелях жизни...

А история «Василия Васильевича и Варвары Дмитриевны» — это го «друга» Розанова, которая не знала различия между «е» и «ѣ» и вместо «Сибирью пахнет» говорила — «Сибирем пахнет», «друга», влиянию которого, по словам Розанова, он обязан своим *вторым рождением*, — разве это меньше романа Достоевского?

С первых лет судьба как-то сплюснула Розанова, что-то безжалостно *укоротила* в нем в смысле богатства, многоцветности детских и юношеских восприятий и переживаний. Он сам тонко и умно говорил о том, какая разница получается в людях от сословности, от среды, их породившей и воспитавшей. На самом деле для «Первой любви» Тургенева, для «Виктории» Гамсуна нужна соответствующая «акустика» окружающей обстановки или уже особый дар души (как у Гамсуна и его героя), иначе не будет «звучать». А как могло «звучать» что-либо в нищенском домике «против Боровского пруда» в г. Костроме и около таких же домиков!

То, чему бы я никогда не поверил и чему поверить невозможно, — *есть в действительности*: что все наши ошибки, грехи, злые мысли, злые отношения, с самого притом детства, в юности и проч.,



¹ Русская Мысль. 1908. Кн. I.



«Ну, вот и окончательно домой! — подумал я, не без облегчения садясь в коляску. — Ближе ко шам, ну ее, всю эту мистику, и белые и черные сияния, и музыку дня и ночи». — Прямо за стенами монастыря, как началось шлепанье грязи, овраги и пригорки, сразу входишь во всю реальность бытия. Это что-то совсем иное. Все познается через противоположность, и, можно сказать, не побывав в отрицании жизни, — не вкусил бы так остро самой жизни. Запах дегтя от колес волновал меня теперь не менее «благоуветливого» вида монахинь. И ямщик, как повернул домой, развеселился же:

— Эй вы, зелененькие! — приветливо покрикивал он на лошадей...

И Розанов, возвращаясь к своей основной теме, — поясняет:

«Своя лошадь! *своя собственность!*» — Вот первое и упорное и, наконец, вековечное отрицание монастыря. Где открывает свой глазок собственность, личная, своя, поименная, а по связи с нею в прошлом дорогая и милая, — нет монастыря, да, пожалуй, нет и христианства»..... «Своя жена! *свои дети! свой дом!*» — Все это отрицание, и вековечное отрицание христианства, которое и учит о себе, что окончательное торжество его тогда настанет, когда «лицо мира прейдет». Когда развяжутся, ослабнут основные инстинкты человека: как бы выпустит мир из себя человека, человек выпустит мир. «Лошадь — моя или не моя: *все равно*; жена — моя или не моя: и это *все равно*».

Радование *своему* дому, *своей* жене, *своему* самовару переходит у Розанова (несомненно, на подкладке всего убожества и томления в прошлом) в пафос домашних мелочей, в пафос материального быта:

Моя кухонная (прих.-расх.) книжка стоит «Писем Тургенева к Виардо». Это — *другое*, но это такая же ось мира и в сущности такая же поэзия.

Сколько усилий! бережливости! страха не переступить «черты!» — удовлетворения, когда «к 1-му числу» сошлись концы с концами.

IV

Мистик и материалист, материалист в своих буднях, путались и переплетались в Розанове самым причудливым узором. Эти переплетения и противоречия собственно и выявляли в нем самый процесс внутренней борьбы, когда стрелка склоняется то в одну, то в другую сторону, когда звучит в душе то одна струна, то другая.

«Мечтатель» и «созерцатель», как он себя сознавал и называл, он бежал за поразившей его идеей часто совершенно вне жизни, бежал

упрямо. Но жизнь ставила преграду, останавливала его и говорила другое. Тогда он искренно удивлялся ей (как домику в Ельце), просыпаясь от своего очарования. Жизнь говорила, что и в язычестве, и в юдаизме человек рано или поздно «выпустит мир» и будет ему «все равно»: «Лошадь моя или не моя; жена моя или не моя». Наступит смерть, которая «до Христа» была гораздо страшнее. Культ «преlestи мира», казалось бы, должен был внушить Розанову и соответствующее отношение к судьбе человека: радуйся, пока жив, а там все равно. Люби и лелей только чувственно-конкретное, вот эти «щи» и «запах дегтя», к которым так приятно вернуться из монастыря. Но это было для Розанова совершенно неприемлемо.

— Что значит, когда «я умру», — говорит он.

Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу.

Еще что?

Библиографы будут разбирать мои книги.

А я сам?

Сам? — *ниче*го.

Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб. войдут в «итог». Но там уже все сольется тоже с другими похоронами: ни имени, ни воздыхания.

Какие ужасы!

Да. Смерть — это *тоже* религия. Другая религия.

Никогда не приходило на ум.

.....
Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

.....
Смерть — конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два — ноль».

Смерти я совершенно не могу перенести.

Не странно ли прожить жизнь так, как будто бы ее и не существовало. Самое обыкновенное и самое постоянное. *Между тем я так относился к ней, как бы никто и ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было* (курсив наш. — М. К.).

Самое обыкновенное, самое «всегда»: и *этого я не видал* (Ibidem).

Конечно, я ее видел; но значит, я не смотрел на умирающих. И не значит ли это, что я их не любил.

Вот «дурной человек во мне», дурной и страшный. В этот момент как ненавижу себя, как враждебен себе.

После написания «Темного Лица» как-то слабеет у Розанова пафос борьбы с Христом и христианством и все чаще приходит мысль о

смерти, которую, конечно, уже не монастырь и не христианство принесли в мир.

Как внешний цвет проходит жизнь. Как ужасно это «проходит». Ужасна именно категория *времени*; ужасна эта связь с временем.

Человек — *временен*. Кто может перенести эту мысль...

У, как я хочу *вечного*. «Раб времени», тысячелетия или минуты — *все равно*. У, как я не хочу этого «раба времени».

А до этого приближения к мысли о смерти Розанов «не хотел» слез. Был так уверен, что слезы только от Христа, что от «сладости» Иисуса плоды мира стали *казаться* горькими...

А внутренняя стрелка все сильнее и чаще склоняется у Розанова в ту сторону, где он видел только «темное», «демоническое».

Только горе открывает нам *великое и святое*.

До горя — прекрасное, доброе, даже большое. Но никогда именно *великого*, именно *святого*.

И Розанов как-то «бродит» внутри самого себя, заглядывая в пустоту того, что казалось прежде «добрым, даже большим». Он уже не боится слез, хочет слез:

Возможно ли, чтобы позитивист заплакал?

Так же странно представить себе, как «корова поехала верхом на кирасире».

И это кончат разговоры с ним. Расстаюсь с ним *вечным расставанием*.

Позитивизм в тайне души своей или, точнее, в сердцевине своего бездушия:

И пусть *бесчувственному телу*
Равно повсюду *истлевать*.

Позитивизм — философский мавзолей над умирающим человечеством.

Не хочу! Не хочу! Презираю, ненавижу, боюсь!!!

Заглядывает Розанов и в то, что было ему близким и своим быту, даже по некоторым личным отношениям, но во многом враждебным по устремлениям своим (против «мира»), и говорит:

Необыкновенная сила Церкви зависит (между прочим) от того, что прибегают к ней люди в *самые лучшие моменты* своей души и жизни: страдальческие, горестные, патетические. «Кто-нибудь умер», «сам умираю». Тут человек *совсем другой*, чем всю жизнь. И вот этот «совсем другой» и «лучший» несет сюда свои крики, свои стоны, — слезы, мольбы.

Как же этому месту, «куда все снесено», не сделаться было наилучшим и наимогущественнейшим. Она захватила «острия всех сердец»: и нет иного места с таким могуществом, как здесь.

Какой раскол с прежним, какой отказ от пафоса благополучных будней, наполненных радостью «своего дома»!

Впрочем, это *еще не было* полным отказом от прежнего, а скорее примирением с тем *гуждым и иным*, от чего Розанов открещивался. Перед окончательным принятием мира во Христе, и только во Христе, Розанов долго еще живет двойственностью, перекачиваясь «туда» и «сюда» и твердо еще не зная, где «самые лучшие моменты души и жизни»: около ли «многоплодного» животнo-здорового радостно улыбающегося быта или здесь, «куда все снесено», — слезы и мольбы и «острия всех сердец».

В приближении Розанова к Христу и к Церкви решающую роль играет перелом в самом ощущении бытия. В самом себе начинает он чувствовать что-то *другое*, а через себя (как почти всегда) это *другое* поражает его и в целом мире.

Линяет, линяет человек. Да и весь мир в вечном полинянии. С каждым кусочком хлеба в нас входит новый кусочек тела: и мы не только едим, но и съедаем самих себя, сами себя перевариваем и «извергаем вон»... Как же нам оставаться «все тем же»?

Самые планеты движутся, все уклоняясь *от прямой*, все *отступая* от вчерашнего пути. «По планете — и человек».

Клонимся, жмемся... пока — умрем!

И вот тогда уже станем «несгибаемы» и «без перемен».

Оглядываясь на себя, он говорит:

Год прошел, — и как многие страницы «Уед.» мне стали чужды: а *отчетливо* помню, что «неверного» (против состояния души) не издал ни одного звука. И «точно летел»...

Теперь — точно «перья пролетевшей птицы». Лежат в поле одни. Пустые. Никому не нужные.

Не «мы мысли меняем как перчатки», но, увы, мысли наши изнашиваются, как и перчатки. Широко. Не облегает руку. Не облегает душу. И мы не сбрасываем, а просто перестаем носить.

«Ветхозаветное» уже не «облегает» душу Розанова. И как «перья пролетевшей птицы», многие его прежние зовы и прежние утверждения.

Боль человека, боль мира, — вот что его больше всего поражает и захватывает.

Сначала была мечта — побороть боль мира радостью рождения. Но мечта не помогла. В тоске жалуется Розанов на то, «как все страшно и безжалостно устроено». Кем? Почему? — он этого не знает, но душа уже выговаривает сама собой, что «темнота» мира не от «Темного Лица» и что самый Лик не темен...

И неожиданно, как прорвавшийся через открытое окно луч, впервые заливает его (*через боль*) новое восприятие Христа:

Смысл Христа не заключается ли в Гефсимании и кресте? Т. е. что Он — Собою дал образ человеческого страдания, как бы сказав, или указав, или промолчав:

— Чадца Мои, — избавить я вас не могу (все-таки *не могу!* о, как это ужасно): но вот, взглядывая на Меня, вспоминая Меня *здесь*, вы несколько будете утешаться, облегчаться, вам будет легче — что и Я *страдал*.

Если так: и Он пришел *утешить* в страдании, которого обойти невозможно, победить невозможно, и прежде всего в этом ужасном страдании смерти и ее приближениях...

Тогда все объясняется. Тогда Осанна.

Но *так* ли это? Не *знаю*.

Но во всяком случае понятно тогда умолчание о браке, о плоти, «не нужно обрезания».

Когда тяжелый больной в комнате, скажем ли: «...обрежь крайнюю плоть».

В голову не придет. Вкус отвращается.

И все «ветхозаветное» прошло, и «настал Новый Завет».

Но так ли это? Не *знаю*. Впервые забрезжило в уме.

(7 ноября 1912)

Если Он — Утешитель: то как хочу я утешения; тогда Он — Бог мой.

Неужели?

Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь; неужели думать — «встретимся! воскреснем! и вот Он — Бог наш». И «все объяснится».

Угрюмая душа моя впервые становится на эту точку зрения.

О, как она угрюма была, моя душа, — еще с Костромы: ведь я ни в воскресение, ни в душу, ни особенно в Него — не верил.

— Ужасно странно.

Т. е. ужасное было, а странное наступает.

Неужели сказать: умрем и ничего.

Неужели Ты велишь не бояться смерти?

Господи: неужели это Ты. Приходишь в ночи, когда душа так ужасно скорбела.

Не без борьбы расстается Розанов с «ветхозаветным», с прельщением радостью мира. Все, что без боли, — заманчиво и привлекает, может быть, почти с прежней силой, но *оценка* всему уже иная: «великое и святое» побеждает просто «большое и доброе».

В грусти человек — естественный христианин. В счастье человек — естественный язычник.

Две эти категории, кажется, известны и первоначальны. Они не принесены «к нам», они — «из нас». Они — *мы сами* в разных состояниях.

Левая рука выздоравливает и «просит древних богов». Правая — заболевает и ищет Христа.

Перед древними нам заплакать? «Позитивные боги» с шутками и вымыслами. Но вдруг «спина болит»: тут уже не до вымыслов, а «помогите! облегчите!». И когда по человечеству прошла великая тоска: «Облегчи», — явился Христос.

В «облегчи! избави! спаси!», в муке человечества есть что-то более важное, черное, глубокое, м. б., и страшное, и зловещее, но, несомненно, и более *глубокое*, чем во всех радостях. Как ни велика загадка рождения и вся сладость его, восторг: но, когда я увидел бы человека в раке и с другой стороны — «счастливую мать», кормящую ребенка, со всеми ее надеждами, — я кинулся бы к больному.

Нет, иначе: старуха в раке, а по другую сторону — рождающая девица. И вдруг бы выбор: ей *не родить*, а той — *выздороветь*, или этой родить, зато уже той — *умереть*: и всемирное человеческое чувство воскликнет: лучше погодить родить, лишь бы *выздоровела она*. Вот победа христианства. Это победа именно над позитивизмом. Весь античный мир, при всей прелести, был все-таки позитивен. Но болезнь прорвала позитивизм, испортила его: «Хочу *туда*, Боже, дай *туда!*» Этот призыв и есть Христос.

Он плакал.

И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа. А кто плачет — увидит Его непременно.

Христос — это слезы человечества, развернувшиеся в поразительный рассказ.

А кто разгадал тайну слез? Одни при *всяческих негастиях* не плачут. Другие плачут и при не очень больших. Женская душа вся на слезах стоит. Женская душа — другая, чем мужская («мужлань»). Что же это такое, мир слез? Женский — отчасти, и — страдания, тоже отчасти. Да, это категория вечная. И христианство — вечно.

Христианство нежнее, тоньше, углубленнее язычества. Все «Авраамы» плодущие не стоят одной плачущей женщины. Вот граница чередующихся в рождениях Рахилей и Лий. Есть великолепие душевное, которое заливает все, будущее, «рождение», позитивное состояние мира. Есть то «прекрасное» души, перед чем мы останавливаемся и говорим: «Не надо больше, не надо лучше, ибо лучшее мы имеем и

больше его не будет». Это конец и точка, самое рождение прекращается.

Я знал такие экстазы восхищения, как я мог забыть их.

Я был очень счастлив (20 лет): и невольно впал в язычество.

Присущее счастливому быть язычником, как солнцу — светить, растению — быть зеленым, как ребенку быть глупеньким, милым и ограниченным.

Но он вырастет. И я вырос.

Могу ли я вернуться к язычеству? Если бы совсем выздороветь, и *навсегда* здоровым: мог бы. Не в этом ли родник, что мы умираем и бодем: т. е. не потому ли и для того ли, чтобы всем открылся Христос.

Чтобы человек не остался без Христа.

Ужасное сплетение понятий. Как мир запутан. Какой это неразглядимый колодезь.

V

«Запутанность мира» — есть соблазн и мука для каждого из нас, не достигающего, во всяком случае сразу не достигающего: «еще не будете как дети, не внидете в Царствие Божие».

Внутренний путь Розанова ко Христу был глубоко *человеческий*, и этим он нам бесконечно дорог. При этом «человек» в Розанове был им самим как-то до конца осознан и до конца раскрыт. В полете своем он не закрывал глаз на «перья пролетевшей птицы» и страстно утверждал, углублял каждое свое «стояние» тут или там.

Вера в мир и любовь к миру, как ни полна она была в нем, сначала была уязвлена чем-то, тогда еще «посторонним», чуждым, и по чуждости своей хотя и враждебным, но уже вошедшим в его душу. Это «постороннее» — был Христос, было христианство.

По замечательному выражению Н. А. Бердяева, Розанов, в пору своей самой горячей борьбы с христианством, *был «задет»* Христом. Мимо он не прошел, как тысячи других, не остался равнодушным.

Но на Христа Розанов смотрел, с одной стороны, сквозь быт и строй тогдашней синодально-государственной Церкви, с другой — через уродливую призму больных сектантских уклонов извращенно понятого христианства.

Будучи по природе своей очень *лиген*, субъективен, Розанов был и пристрастен, особенно в пылу борьбы. Желая утвердить свое положение, что Христос есть темное солнце, солнце смерти, он жадно ухватился за все случаи маниакально-религиозного самоубийства (самосожжение, самозакапывание), которые рассказывает по документам в «Темном Лике», необыкновенно ярко, ослепительно талантливо выделяя и подчеркивая такие подробности в этих рассказах,

которые с первого раза как бы даже убеждают читателя, во всяком случае очень смущают его.

Но Розанов не замечает, что все его удивительное построение рассыпается в прах напоминанием о том, чего он «не принял во внимание»: христианская Церковь именно осуждает самоубийство, как Христос его осудил, и, затем, христианская Церковь осуждает всякое уклонение от той истины исповедания и понимания Христа, которое этой «Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью» установлено.

Самосожигание и самозакапывание и есть тот грех и соблазн, который пропастью разверзается в тупике сектантства, ереси, независимо от того, подпадает ли соблазну отдельный человек, даже не сознающий себя еретиком, или целая группа людей, сознательно ушедшая из Церкви в секту.

Таким образом, Розанов видит лже-Христа еретического и иступленно кричит о том, что таков именно и есть подлинный Христос.

Все христианство он сводит только к монашеству, к аскетизму, при этом подчеркивает его будто бы «темноту» и «черноту», уверяет читателей в его безрадостности, ибо ему, Розанову, в то время понятна была только «ветхозаветная» радость, при этом в очень узком и специфическом ее понимании. Захваченный, вернее сказать, *одержимый* своей предвзятостью, Розанов пытается утверждать, что даже старец Зосима у Достоевского совсем не христианин, а пантеист, проникнутый дохристианским «первоначальным натурализмом». В этом утверждении сказывается полнейшее непонимание тогда Розановым самой сути христианства. Очень характерно его возражение по поводу Зосимы:

«Нет строя души более *противоположного христианству*, чем душевный покой и душевная светлость Зосимы, исключаяющие нужду во Христе», — говорит Розанов, расписываясь в полнейшей своей слепоте, в полнейшем неведении христианства.

Христианству он вообще отводит (и в период вражды с ним, и даже в период начинающегося принятия его и примирения с ним) только область страданий, тоски и слез.

...Древние храмы были полны тельцов, овец, голубей — здоровья еще до человеческого; а новые полны хромых, слепых, расслабленных. Недаром в Евангелие вкраплено столько рассказов об исцелениях», между прочим об исцелении именно «расслабленного», — а Христос начал свое «новое» изгнанием животных из храма... *Болящие, боль мира, и недолгая уже жизнь, которая после болезни кажется как «воскресение», как «преображение», — вот в волны чего Христос опустил свое слово. И решительно невозможно и не натурально пере-*

нести это слово или привить его к первоначальному дичку природы, растущему, полному сил, который вообще ничего себе не ожидает и ни в чем для себя не нуждается. Самодовление — и нет христианства! Нужда, жажда, алкание — о, на эту раскаленную почву христианство капнет ответной влагой.

Я привожу эти отрывки из «Темного Лица» на тему уже однажды указанных настроений Розанова, чтобы глубже раскрыть всю силу пережитого им «беснования». Именно *беснования* — это определение всего ближе к его духовному состоянию в известную пору жизни. Культ здорового «первоначального дичка природы» Розанов доводит до того, что пусть животные останутся в храме как основа религии и жизни... а «расслабленные», вообще больные и страдающие?..

Ведь если продолжить идею «оздоровления мира», то их надо вывести за стан, как в Ветхом Завете, а еще вернее, — просто истребить, чтобы уже ничего слабого и расслабляющего своей болью больше не оставалось в мире.

Розанов не хочет страдания и потому отвращается от Христа, ибо, по его словам, «первоначальная натура», «естественная душа» не нуждается в Небесном Целителе. «Это не значит, что она *вне* Бога и без Бога, «безбожна» или даже просто худа, но что она пока находится в круге Отца Небесного и не доросла еще до Страдающего Сына. Весь мир до нашей эры мог бы повторить как свое исповедание весь первый член нашего Символа веры; точнее, этот первый член и объемлет собою древний мир и все его упования».

Но вот что поразительно в Розанове: «В теории» он восстает и бунтует против Христа, *издали* на него ополчается, но при малейшем *касании* всего того, что уже во Христе или стремится по крайней мере Его достигнуть, — Розанов стихает именно как бесноватый, ощутивший близость руки Сына Божия.

Его описания двух женских монастырей, Понетаевского и Дивеевского около Сарова, светятся (вопреки «теории») подлинным восхищением:

Повторяю, я не люблю монастырей, но, когда я увидел стройные ряды этих сотен «черных дев», где не было ни одного лица грубого, жесткого, ни одного легкомысленного или пустого (а я очень в них вглядывался), но все светилось приветом, уступчивостью, помощью, — я удивился великому преобразованию, которое производит в человеке «устав»..... «Подают ли «поминания», не умеет ли паралитик подняться на скамейку, или слепой не видит, куда идет: везде тут монахиня, везде — помощь, ласка, без упрека, без досады, усталости, лени; с той милой, спокойной «благоуветливостью» (мо-

нашеский термин), которая есть высший синтез природной доброты и обдуманых обычаев, к которым приучен с детства.

Я видел столь же стройные, массивные ряды, в церкви и на публичных актах, гимназистов и гимназисток: ничего подобного и даже приблизительного! Я видел, и никогда не забуду, самую благовоспитанную человеческую толпу перед собою, благоустроенную, спокойную, к бесконечно многому готовую, не смятенную и, кажется, не могущую поддаться никакому смятению при всяком «обстоянии». Это большая сила и красота! Не забудем, что все они готовы повиноваться одному мановению — в их духе, в принятом ими направлении! Без этого — бунт, сопротивление. И это хорошо: потому что самое повиновение здесь не бессмысленно, не хаотично.

При этом Розанов подчеркивает, что в монастыре так преобразились именно крестьянки, тогда как в самой крестьянской жизни, вне монастыря, — «все невообразимо сорно, загрязнено, тесно, душно». В избе крестьянской «огромные, почти над всей избой, полати представляют основу сна, а огромная печь представляет основу еды. Еда и сон, и труд — это все!»

Но ведь «еда и сон, и труд» — это как раз «первоначальный дичок природы», воспеваемый Розановым, и вот оказывается, что в *натуре* он его и не удовлетворяет. Монастырь, против воли, пленил, а изба, где вместе с людьми как раз животные, самые эти «тельцы» и ягнята, еще пахнущие рождением, не затрагивает его никак, а внушает скорее желание от всей этой грубости отойти прочь.

Но допустим, что восхищение Розанова монастырем чисто эстетическое, а что же за чувство внушает ему Преподобный Серафим и все, что связано с его памятью на этих святых местах?

Каким тоном он говорит и о «земляночке», и о «грядках», с какой радостью *припадает* к «мшистой хвойной земле»: «Вот он тут жил, это самое место и уже без всяких перемен кругом!» И опять повторяет: «То самое! Подлинное! И так хорошо было кругом, что хотелось бы поселиться здесь и прожить месяцы!»

А вот, забыв сказанное в начале книги о Зосиме, вот что говорит Розанов о Преподобном Серафиме:

В пору, когда Пушкин писал «Руслана и Людмилу», декабристы зачитывались Ламартином и Байрон пел «Чайльд-Гарольда», в эпоху конгрессов, Меттерниха, в эпоху начинающегося социального брожения, — в этих лесах жил человек, явивший изумительное воскресение тех тихих и созерцательных душ, какие во 2-м, 3-м, 4-м веках нашей эры жили в пустынях Ливии, Синае, Сирии. Ни один еще святой Русской Земли так не повторил, но без преднамерения, неумышленно, великих фигур, на которых собственно, как мост на сваях, утвердилось христианство. И какие особенные слова у них

были? какое учение? Томов они не оставили: хотя в трепетной памяти потомства и запомнились 2—3, 5—6 афоризмов, «изречений» их. Где же тайная их сила? Неуловимо. Но Небо им что-то сказало. Лег знак Неба на чело их. Все это почувствовали; и опять: как почувствовали, через что — неисследимо! Но все запомнили, отметили. Все с тех пор идут сюда. Это — особенное место, особенное лицо, несмешиваемое с мудрецами, с великими вздымателями волн истории, как Гус, Иероним Пражский, Лютер. Здесь — все тихо. Была ли здесь хоть малейшая неправда, как она есть везде, во всем на земле, по слабости человеческой, по греху человеческому? Мне кажется, существо отшельничества, в первой и чистой фазе его, и заключалось в желании «уйти от греха». Ибо «грех» всегда является от замешательства обстоятельств, от столкновения их с лицом человеческим и лица человеческого с ними. Уединись — и станет немного лучше. Уединись надолго — душа успокоится. На этом основаны религиозные идеи отдыха, праздника (бесшумного) и покоя. Наконец, уйди на всю жизнь в леса, к звездам, к утреннему солнцу, к живительной росе, проводи рукою по этой холодной росе на утренней заре или, поднявшись на пригорок, следи, как солнце садится в купы деревьев, — и так сегодня, завтра, всегда, — и душа очистится, станет прозрачна, как слеза росы на зелени, без мути в себе, без пыли в себе. Она сольется с природой, сделается от нее неразличимой. И природа как бы уже прижизненно вберет в себя такого человека, как она вбирает всякого после его смерти.

И тогда придут к такому человеку животные, не боясь его, даже любя его, даже понимая как-то его, — и он их постигнет новым постижением.

Что это — «пантеизм», «до-христианство»? Но как же бы тогда на нем, по словам Розанова, «как мост на своих сваях, утвердилось христианство»?

И причем «пантеизм» и «натурализм», если «Небо им что-то сказало», если «лег знак Неба на чело их»?

И это не просто «уединение» и «созерцательность». Розанов говорит: «*неисследимо*». И сам он чувствует «неисследимое», когда смотрит на икону Преподобного:

В епитрахили, чуть-чуть согбенный, с прекрасной бледной рукой на груди, являл старец действительно *дивное, единственное лицо свое*.
(курсив наш. — М. К.)

Внутренним инстинктом Розанов улавливает *правду* («Небо», «неисследимость»), но внешние его определения путаны и противоречивы.

«Природа прижизненно вберет в себя такого человека» — это вяжется с индусом, «прижизненно» уходящим в «нирвану», наконец,

человек, оставшийся среди природы только с голым натурализмом в себе, — просто *одигает*, но христианский отшельник, который хочет «уйти от греха», в отшельничество свое вносит не столько отрицание мира, сколько искание Бога. Именно *для Бога и в Боге* он удаляется «в леса, к звездам, к утреннему солнцу, к живой росе», ибо природа менее искажена грехом, чем человек, и среди природы легче побороть обитающий в нас грех.

Да, «душа очистится, станет прозрачна, как слеза росы на зелени, без мути в себе, без пыли в себе», но не чистотой первобытного обитателя пещер и деревьев, а тем «душевым покоем, душевной светлостью Зосимы», которые даются общением с *лигным Богом — Христом* и, вопреки утверждению Розанова, не только не «исключают нужду во Христе», но без Христа невозможны и немислимы.

Несмотря на все отрицание христианства, пленяющий Розанова облик Преподобного Серафима пленяет его именно христианским своим сиянием. Поражающее Розанова «неисследимое», которое он называет «знаком Неба», — есть божественная любовь, любовь Бога к человеку и к миру, воплощенная в Сыне Божиим.

Этого основного и главного во Христе Розанов долго и не замечал. Любовь приводит Бога к «расслабленным», и «расслабленные», которые не нужны «первоначальному дичку природы», — нужны Богу-Христу.

Если бы Розанов понял это с самого начала, он не жаловался бы на то, «как все страшно и безжалостно устроено». Он бы увидел, что любовь объемлет мир и через Св. Серафима, питающего медведя из своих рук, и через солнце, которое светит «и на добрых и на злых», и через монахиню, которая помогает паралитику или слепому.

Розанов именно и ужаснулся «безжалостному» устройству мира, когда пожелал отторгнуть «первый член Символа веры» и представил себе равнодушного Творца миров, которого он в заблуждении своем хочет назвать Богом Отцом и противопоставить «Страдающему Сыну». Он, Розанов, забыл сказанное об Отце:

«Бог так возлюбил мир, что отдал Сына своего Единородного...»

Жертва Сына есть жертва и Отца, таинственная и непостижимая жертва — Любовь Св. Троицы. Также забыл Розанов о том, что «мир во зле лежит» и что грех есть не «замешательство обстоятельств», а простое «столкновение их (обстоятельств) с лицом человеческим», а *уязвленность злом всего «сущего на земли»*.

Отвергающий Христа Розанов не Христу ли поклоняется, когда с умилением описывает молитву паломников у раки Преподобного Серафима и говорит:

...женщина, простая, все клала длинные поклоны: и долго-долго лежала каждый раз голова ее на ступеньке, ведущей к раке. Когда она

отошла (чтобы прикладываться), дерево ступеньки было так закапано слезами, точно тут немного полили из лейки. Так удивительно это было видеть. Я незаметно стал на ее месте и, положив земной поклон, поцеловал эти слезы. Если бы даже кто не любил Бога, как не полюбить эту любовь к Богу? (курсив наш. — М. К.) Чудное дело — религия; как-то умеет же человек самое насущное свое — боли, страдания, горести, поименные, ежедневные, — связать с самым далеким, неосязаемым, вездесущим. И молится вот о «болящей Тане» Тому, Кто держит миры под десницей и покровительствует Вечности: как будто такая даль может видеть такую малость! Но — видит она! А главное, — человек верит, что видит, и жив этою верою. И свят же человек молящийся... Если бы даже «там», в небесах, и было пусто, как непременно хотят скептики, то все равно слезы человечества уже сами по себе суть религия и вызывают к себе религиозное умиление.

Мало знающий и мало чувствующий Розанова читатель, прочтя страницу за страницей весь «Темный Лик», может прийти в полное недоумение:

— Да что же это значит? Верует он (автор) во Христа или не верует? Отвергает или прославляет? Ничего нельзя понять!

Может быть, и трудно понять — все перебои, как в речи юродивого, который волнует огромным тайным смыслом своих слов, но логически как-то не связывает того, что говорит.

В Розанове и было это юродство. В каком-то отношении он именно юродивый русский гений. Все с вывихом, все с «выходками», даже с гримасами и с озорством, мальчишеским озорством у более чем зрелого человека, который говорит горячо, серьезно, убедительно и вдруг, точно язык высунет: «нате, мол, вам». И так у него почти во всем. Если не всегда, то очень часто.

— Иду, иду, иду... И где кончится путь мой — не знаю, — говорит Розанов, прибавляя: — и срывает меня с каждого места, на котором стою». «Какой я весь судорожный и — жалкий. Какой-то весь растрепанный: «Последняя туча рассеянной бури...»

И сам себя растрепал, и «укатали горки».

В этом признании — ощущение разорванности своей, сложнейших и мучительных сплетений всего и вся в себе, ощущение своего «юродства».

Розанова не любило и не поняло его время (хронологически «его время»), но, чем дальше, тем глубже начинают его понимать и любить теперь.

Русская буря если и поломала все, и обломки эти еще лежат в жутком нагромождении, то все же воздух она очистила и прояснила зрение.

«Проясненному» зрению является подлинный Розанов. Подводить итоги ему слишком рано — он только еще начинает жить и действовать в наших душах.

В беглом очерке нет возможности охватить его всего, и приходится отметить только самое главное — кое-какие вехи религиозного пути Розанова. В этом пути вот что удивительно:

Почти всю жизнь он был в «споре» и с Церковью, и с христианством, порою в самом дерзком споре, а *общее впечатление* от его книг диктует вывод:

Какой огромный и глубокий религиозный писатель!

Вольно или невольно, но самым «спором» своим Розанов утверждал христианство, утверждал Церковь, утверждал основы религии.

И вот как пример — «Темный Лик»: цель книги — обличение христианства, а между тем Розанов, сам того не ведая, не отводит от Христа, а приводит к Нему. Все его «отрицательные» доказательства и рассуждения никнут перед яркостью его религиозно-художественных восприятий. Он осуждает монашество, а «тихие обители» в «Темн. Лике» цветут такой красотой, которой, пожалуй, не найти в самых ортодоксальных писаниях на ту же тему. И если положить на одну чашку весов всю аргументировку Розанова против христианства, а на другую описание одной только Саровской пустыни и *чувство Розанова к Преподобному Серафиму*, которым это описание проникнуто, то чувство перетянет рассуждения. Вместо минуса получится плюс.

И этот плюс — не случайный итог, а следствие отношения Розанова к Христу, в котором никогда не было *холодности и безразличия*.

Розанов внутреннего взгляда «умных» очей не мог отвести от Христа и, чем больше кричал, что Лик «темен», тем более к Нему стремился.

Тревогу Розанова о Христе можно передать словами Св. Писания:

«Камо пойду от Духа Твоего и от Лица Твоего камо бежу?»

Сопоставив отношение к Христу Розанова с отношением к Христу Толстого, мы сразу почувствуем, какая тут *разница*. Толстой не любил Христа. Он только *идейно* дорожил евангельским учением, от того так *бестрепетно* перекроил Евангелие и вообще все христианство, вынув из него холодными пальцами самую его сущность. И Толстой мог так неумно и плоско (в «Воскресении») издеваться над таинствами и обрядами православной Литургии.

Розанов за всю свою жизнь не сказал ни одной *пошлости* о Церкви и о христианстве, хотя говорил *дерзости*, почти кощунствовал в исступлении. Но это *другое*. При всем неистовом протесте против Христа, он никогда не издевался над христианством, и никогда бы

у него рука не поднялась «прокорректировать» Евангелие, как она поднялась у Толстого.

Знаменательно, что и Церковь, отлучив Толстого, никогда не отлучала Розанова, даже за все его «дерзости». В этом проявилась великая и мудрая прозорливость Церкви, не угасшая в ней даже в печальные времена синодального строя и государственного угнетения всей церковной жизни. Церковь как-то угадала, что Толстой может обойтись без Христа и подменить в Нем Его божественное своим самонадеянно-человеческим. Розанов бесновался, как Гадаринский бесноватый, и кричал Христу: «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня».

Толстой умер вне Церкви.

Розанов провел остаток своих дней не на «Коломенской улице», а в Сергиевом Посаде, вблизи одной из величайших святынь Православия, около своего друга о. Павла Флоренского. И он не только смирился, покорился, покался, но припал ко Христу радостно, как Фома: «Господь мой и Бог мой!»

Знаменательно, что Розанову в конце его жизни пришлось не только пройти через полное распадение быта, но и самому стать жертвою этого распада.

Поэт быта и «своего дома», строитель «гнезда», говоривший — «мелочи — суть мои "боги"», Розанов лишился всего «своего» и умер от голода и от истощения в нетопленном каком-то случайном жилье, испив до конца всю чашу бедствий и нищеты, которым обречла его русская революция.

Но «очерк его лица» даже в самом его умирании не исчез: трагическое переплеталось со своеобразным *розановским*, как во внешней обстановке его последних дней, так и в его внутренних проявлениях.

Из слов одного из близких его друзей, не покидавших его до последней минуты, вот что мне запомнилось:

В ужасных условиях он умирал. В доме был холод нестерпимый, и, чтобы согреть его как-нибудь, его накрыли всеми шальями и шубами, какие только нашлись, а на голову ему надели какой-то нелепый розовый капор, из тех, в которых прежде ездили дамы в театр. Так он и лежал под грудой этого тряпья, худой, маленький, бесконечно жалкий и трогательный в этом комичном розовом капоре — остатке его прежнего «дома». Он не жаловался, ничего не просил, только иногда говорил, точно с самим собой, «по-розановски»:

— Сметанки хочется... каждому человеку в жизни хочется сметанки.

Умирал он вполне сознательно и без страха. Хотел исповедаться и причаститься перед смертью, и, когда о. Павел Флоренский предложил ему совершить таинство исповеди, Вас. Вас. ответил:

— Нет... Где же вам меня исповедовать... Вы подойдете ко мне со снисхождением и с «психологией», как к «Розанову»... а этого нельзя. Приведите ко мне простого батюшку, приведите «попику», самого serene, даже самого плохенького, который и не слышал о Розанове, а будет исповедовать *грешного раба Божия Василия*. Так лучше.

Эти слова и упоминание о «сметанке» — были последними «опавшими листьями» Розанова...

Он скончался, читая Символ веры. Прочел до конца и затих...

Похоронили его, согласно его желанию, рядом с могилой Константина Леонтьева на кладбище Троице-Сергиевой лавры.

Предчувствие Розанова о себе исполнилось: задолго еще до революции он писал:

Конечно, я умру *все-таки* с Церковью, конечно, Церковь мне *неизмеримо* больше нужна, *тем литература* (совсем не нужна), и *духовенство все-таки всех* (сословий) *милее*...

О Церкви в «Оп. л.» Розанов писал своим особенным, каким-то *скульптурным* языком удивительные строки и страницы. Он видел тогда только прежнюю, еще не возродившуюся в Патриаршестве Церковь, со всеми язвами ее строя и недостатками тогдашнего духовенства, но чувствовал в ней великое и вечное; как-то угадывал его в глубинах ее, хотя в сущности плохо знал самое учение Православия. Но он брал его своим чутьем:

Даже если все это место полно червями и тлением — я останусь *здесь*.

С глупыми — останусь. С плутами — останусь.

Почему?

Здесь говорят о бессмертии души. О Боге. О Вечной Жизни. О Награде и Наказаниях.

Здесь Алтарь. Воистину алтарь один на земле.

И куда же мы все пойдём отсюда...

У меня было религиозное высокомерие. Я «оценивал» Церковь как постороннее себе, и не чувствовал нужды ее себе, потому что был «с Богом».

Помню, в Брянске я с высокомерием говаривал: «Он церковник», или еще: «Да, он церковник, но это вовсе не то, что религиозный человек...» «Я не церковник, но я религиозный человек».

Но пришло время «приложиться к отцам». Уйти в «мать-землю». И чувство Церкви у Розанова пробудилось:

Церковь — это «все мы», Церковь — «я со всеми». И «мы все с Богом».

В отличие от высокомерной «религиозности» — «церковное» чувство смиренно, народно, общечеловечно.

Философы, да и то не все, говорили о Боге; о «бессмертии души» учил Платон. Еще некоторые. Церковь не «учила», не «говорила», а *повелевала* и верить в Бога, и питаться от бессмертия души. Она несла это Имя, эту Веру, это Знамя без колебания, со времен древних и донесла до наших времен. О сомневающих она говорила: «Ты — не мой». Нельзя себе представить простого дьячка, который сказал бы: «Может быть, бессмертия души и — нет». Всякий дьячок имеет уверенность в том, до чего едва додумался и едва имел силы достигнуть Платон.

«Сумма учений Церкви» неизмерима сравнительно с Платоновой системой. И так все хлебно, так все просто. Она подойдет к роженице. Она подходит к гробу. Это *нужно*.

Вот «нужного»-то и не сумел добавить к своим идеям Платон.

Что же такое наши университеты и «науки» в духовных академиях сравнительно с Церковью?

Трава в лесу. Нет: трава в мире (космос).

Мир — Церковь.

А науки, и университеты, и студенты — только трава, цветочки: «пройдет серп и скосит».

Через 1900 лет после Христа, из проповедников слова Его (священники) все же на десять — один порядочный и на сто — один *огень* порядочный. Все же через 1900 лет попадают изумительные. Тогда как через 50 лет после Герцена, который был тщеславен, честолюбив и вообще с недостатками, нет ни одной *такой же* (как Герцен), т. е. довольно несовершенной, фигуры.

Это — Революция, то — Церковь.....

...Что будет с Герценом через 1900 лет? с Вольтером, с Руссо, родителями Революции? Ужаснется *тысяче девятьсот* годам самый пламенный последователь их и воскликнет:

— Еще бы, *какой вы срок взяли!!!*.....

...Между тем священник, поднимая Евангелие над народом, *истово* говорит возгласы с чувством необыкновенной реальности.

А дьякон громкогласно речет: «Вонмем». Диакон речет: с такой силой, что стекла в окнах дрожат: как Вольтер — в Фернее, а вовсе не как Вольтер в 1840-м году, когда его уже ели мыши. И приходит мысль о всей Революции, о «всех их», что они суть снесь мышей.

Лет на 300 хватит, но не больше — пара, пыла, смысла.

Отчего же дьякон так речет, а Вольтер так угас?

И при жизни Вольтера, в его живых устах, слово не было особенно ценным. Скажите сразу, не думав, что сказал Вольтер дорогого человека на все дни жизни и истории его? Не придумаете, не бросится в

ум. А Христос: «Блаженны изгнанные правды ради». Не просто «они хорошо делают», или «Гужно любить правду и потерпеть», — а *инаге*: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».

Как извѣяно. И стоит 1900 лет. И простоят еще 1900 лет, и это скажет тот самый последователь Вольтера, который сказал:

— Еще бы, вы *какие сроки* загадываете!..

Евангелие бессрочно. А все другое срочно — вот в чем дело.

Этот отрывок о Евангелии и Вольтере Розанов заканчивает по-своему, «по-розановски», как он один только умеет:

И орет дьякон. И я, пыльный писатель, с пылью и мелочью в душе и на душе, стоя в уголку церкви и улыбаясь и утирая слезы, скажу весело и грустно:

— Ори, батюшка, сколько утробушки хватит. И «без сумления» кушай, придя домой, устав, гречневую кашу и щи, и все, что полагается, со своей матушкой-дьяконицей, и с детушками, с внуками. Вы на прочном месте стоите и строите в жизни вечную правду.

(7 декабря 1912 г.)

Сам Розанов, несмотря на свои протесты и бунт против ложно им понятого, вернее, *неузнанного* Христа, от «прочного места» далеко не отходил. Даже самое «беснование» его происходило где-то «в ограде церковной», во всяком случае около нее. И Церковь приняла его как *своего*. Как *своего* приняла и преображенная ныне «в духе и истине» церковная Россия.

П. М. Пильский

В. В. РОЗАНОВ

1



ак мало интересных людей!.. Горсть! Что такое: «интересный»? Урод! В психологическом отношении это — то же, что заспиртованные головастики, люди с тремя руками или бесхвостые обезьяны. «Интересные» — неожиданность. Они — исключение. Ум, красота, сила, даже талант — обыкновенное. Но «интересные» — редкость.

Таким интересным, единственным, ни на кого не похожим был В. В. Розанов. Недаром многие смотрели на него как на некое явление.

— Он был, — говорит З. Н. Гиппиус, — до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать «явлением», нежели человеком¹.

Это — метко. Но как бы ни стремиться к абстрагированию, как ни заменять человека схемой, жизнь — формулой, Розанов остается реальным существом, человеком, писателем.

Он был странный и странствующий.

Умственное кочевничество в эту четверть века в России стало распространенным. Эта одержимость у нас окрасилась притемненным светом какого-то сквозного нигилизма, как бывает сквозной ветер. И, собственно, в идейном странствовании Розанова нет ничего ни удивительного, ни исключительного.

Его эпоха не шла ровным шагом, а бежала, все время припадая то на одну ногу, то на другую. Стремилась, вололась. Интерес розановской личности заключался в том, что он был еще и странен.



¹ Гиппиус З. Н. Живые лица. Вып. 1 и 2. Прага: Изд-во «Пламя», 1925.



И одной из сторон его общей странности было его одиночество. И оно казалось особенным. Эта внутренняя отгороженность не заслоняла мира и не строила глухой стены. Эти перегородки были сквозные. Через них Розанов был виден миру, и мир был виден ему. Но оба друг от друга были занавешены. Разделяющую грань не переступали. Полного сближения не было. В обоих жило большое и острое взаимное любопытство. Но и оно было необычно. В этом взаимном прищуренном разглядывании таилось недоверие, это недоверие происходило от незнания, потому что даже интеллигенция, даже писатели не знали Розанова, как и он, в свою очередь, не знал мира, людей и жизни. Отсюда — скептицизм, из скептицизма — неприязнь. Скептицизм и неверие, т. е. неуверенность, — обычные спутники неведения. И Розанов боялся, а мир его отрицал.

2

Впрочем, уединенная душа Розанова была обречена некоему отшельничеству еще и его некрасивостью. Он этим тяготился. Себя, внешнего, он не любил и этим мучился. В своей замечательной книге («Уединенное») он так и записал:

Неестественно-отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал перед зеркалом... Сколько тайных слез украдкой пролил. Лицо красное. Волоса... торчат кверху... какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все — не лежат. Потом домой приду, и опять — зеркало: «Ну, кто такого противного полюбит?» Просто ужас брал... В душе думал: женщина меня *никогда не полюбит*, никакая. Что же остается? *Уходить в себя, жить с собою, для себя* (не эгоистически, а духовно), *для будущего?*..

Это было горькое чувство. В нем надо искать корень розановской трагедии. Для него она была особенно тяжка. Надо помнить, что «пол» для него играл первенствующую роль. Все свое мироистолкование Розанов сводил к этой «проблеме». В его философии пол роднился с Богом, и разгадка, и восприятие божества им чуялись не в путях ума, а все там же и в том же — в поле.

Этот вопрос его беспокоил. Розанов был им навеки растревожен. В этой области было зажжено его наибольшее любопытствование.

Женщина влекла его, как загадка. Он был полон какой-то особенной, нервной чувственности. Может быть, жадной страстностью. Его раздумье над семейным вопросом, над браком пронизано редкой напряженностью. Тут он был у себя дома. Даже собственные писания, свою вдохновенность он выводил отсюда же — из чувства пола.

— Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков?..

— Ну? Ну?.. Хх...

— Это — что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил. Я — первый... Просто, сидеть дома и хотя бы ковырять в носу «и смотреть на закат солнца!..

Эти признания — искренни. У Розанова не было рисовки. Позерство ему было чуждо. Общественность он просто не понимал. Ему она говорила как бы на иностранном языке. Он ее совсем не чувствовал. От ее холодного рационализма Розанов зяб. Писал, что было на душе, — то, что жило в ней вот сейчас, в эту минуту, без системы, без плана, без программ.

Долго работал в «Новом Времени» и никогда ничем не был с ним связан. И в общем представлении тоже никогда не казался сотрудником этой газеты. Его аполитичность, общественная безучастность были так наглядно явны, что с этой стороны к нему никто не подходил всерьез. Только поэтому он мог параллельно работать и в «Новом Времени», и в «Русском Слове», и в «Русской Мысли». Это было противоречие. Но для Розанова никаких противоречий не было. Он сам являлся как бы живым воплощением сплошной и необычайной противоречивости. Про самого себя удивленно говорил:

— Душа моя — какая-то путаница...

Помню, в Петербурге мне рассказывали о Розанове, быть может, анекдот, быть может, истинное происшествие. Он принес статью в консервативный «Русский Вестник». Ее приняли. Розанов прислал вторую. В редакции развели руками. Розанову сказали:

— Василий Васильевич! Вы, должно быть, ошиблись адресом. Несите эту статью в какой-нибудь либеральный журнал.

И он отнес. Статью приняли. Через некоторое время Розанов принес вторую. Теперь уже в либеральной редакции ему сказали:

— Это не для нас, Василий Васильевич! С этой статьей вам надо идти в консервативный «Русский Вестник».

И Розанов отправился, сдал, был принят и т. д., и т. д. Сказка про белого бычка. Повторяю: рассказ, вероятно, анекдотичен. Но для Розанова он очень характерен. Таким его понимали и считали все, потому что сам он был не «как все».

4

Безобщественный, он, однако, не чуждался иных кружков — религиозных, эстетических, но мог бы стать участником и эротических. В начале века кружки были модны и распространены. Петер-



буржцы их помнят. Среди них особенно многолюдным и интересным кружком была «башня» Вячеслава Иванова. Там бывали все: поэты, беллетристы, критики, философы, общественники, издатели — вся тогдашняя петербургская интеллигенция. Бывал там и Розанов, когда «там водили «хороводы» и пели вакхические песни в хламидах и венках — так пишет теперь З. Н. Гиппиус.

Должен признаться, сам я этих «хороводов» никогда у Вяч. Иванова не видел, а когда-нибудь о виденном и слышанном расскажу с большим удовольствием как о приятном и интересном воспоминании. Это были годы кружков, дни наших литературных встреч. Конечно, среди этих обществ можно было припомнить много курьезного, забавного, нарочитого, и З. Н. Гиппиус рассказывает о каком-то «радении» у поэта Минского, «где для чего-то кололи булавкой палец у скромной, неизвестной женщины и каплю ее крови опускали в бокал с вином».

Словом, карикатурное было. Инде любили играть в загадочность. Кое-кто нарочно распускал дутые слухи. Было в ходу мистификаторство. Ал. Ремизов вспоминает, как однажды его жертвой стал Розанов. К нему приехали С. П. Ремизова и Л. Ю. Бердяева. У Розанова болело горло, и он решил просидеть дома. У обеих дам было по красной гвоздике.

— А откуда у вас цветы и почему одинаковые?

Василий Васильевич сказал это совсем уж чисто.

— Мы поступили в одно общество, — ответила С. П.

— Какое?

— В эротическое. Мы, собственно, и приехали как делегатки просить вас быть почетным членом за ваши большие заслуги в этой области.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте!

— Там три отделения: мужское, женское и смешанное.

— Я — в женское.

— Мы не можем. Вы там сами скажете.

— Ну, едемте, едемте!

Конечно, никакого «эротического общества» не было. Над Розановым подшутили. Меж тем я очень хорошо помню, как и мне тогда с большим воодушевлением рассказывали о таком обществе, и о том, что там принимает участие Розанов, и какие там происходят оргии, с удивительными подробностями, обстоятельностью, именами, с описанием ритуала, с расписанием дней, часов и даже оргиастического порядка. Лгали много. Выдумывали кому не лень. На самом деле все было очень просто, скромно и в то же время оживленно и весело.

Но для Розанова этот эпизод типичен. В этой области он страдал большим любопытством. В то же время это был прекрасный семьянин, преданный и верный муж. Но семейная жизнь у него сложилась не сразу. Его первый брак был, воистину, страшен. 18-летним мальчишкой Розанов женился на 40-летней женщине, любовнице Достоевского. Она была похотлива, ревнива и зла. Розанов едва спасся. Тишину семейного уюта принесла с собой его вторая жена, бледная, незаметная, молчаливая и очень религиозная женщина, Варвара Дмитриевна.

Революция сбросила в могилу и Розанова. От потрясений, голода, холода, пустынности он сник, у него сделалось кровоизлияние, потом второе, он сломился, стал недвижим. Еды не было, лекарств не было, он жил под Москвой, в Троице-Сергиевом Посаде. Сына Васю забрали в Красную армию — он заразился сыпным тифом и умер. Очередь пришла за Розановым. На смертном одре он писал:

Душа восстанет из гроба и переживет, каждая душа переживет — и грешная, и безгрешная — свою невыразимую «песнь песней». Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь.

В своей жизни, в своих книгах, чувствованиях, в своих тайных притяжениях, в своей необыденности перед нашим взором прошел интереснейший и замечательный человек любопытной и замечательной эпохи. Но и ей он принадлежал только частично, ибо своей гениальностью, своей редкой, исключительной оригинальностью он отдан не времени, а временам, не одному поколению, а будущему.

Это был человек, не имевший в мире двойника.

М. М. Спасовский

В. В. РОЗАНОВ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ
Среди неопубликованных писем и рукописей

Россия испытала такой погром и разгром самое себя, перед которым бледнеют все бедствия, вынесенные нами в нашей многотрудной и терпеливой истории.

В. В. Розанов

От издательства



Отсутствие на рынке книг В. В. Розанова показывает, сколь велик был проявлен своевременно интерес к трудам этого великого русского патриота и философа. Некоторые его отдельные книги стали вообще библиографической редкостью.

Наше издательство имеет в виду когда-то переиздать полное собрание сочинений В. В. Розанова. К сожалению, в настоящий момент по техническим и финансовым обстоятельствам мы этого сделать не можем, хотя мы и не отбрасываем полностью эту идею.

А сейчас предоставляем слово известному и прекрасному публицисту Михаилу Михайловичу Спасовскому и предлагаем вниманию читателей 2-е, дополненное издание его труда — «В. В. Розанов в последние годы своей жизни».

Предисловие ко 2-му изданию

Впервые мои воспоминания о В. В. Розанове были выпущены в свет «Русским национальным издательством» в Берлине в 1939 году. Выход этой книги был сейчас же отмечен русской парижской эмигрантской печатью. В частности, популярная в то время парижская



газета «Возрождение» в № 4185 от 26 мая 1939 года писала в отделе «Русские книги за рубежом»:

Недавно основавшееся в Берлине «Русское национальное издательство» выпустило интереснейшую книгу воспоминаний М. Спассовского об известном писателе и философе В. В. Розанове: «Розанов в последние годы своей жизни».

А две недели спустя известный критик, ныне покойный Юрий Мандельштам, посвящает в этой же газете от 9 июня свою обширную статью в 300 строк — под заглавием «Неизданные письма и статьи Розанова», в которой подробно анализирует мою книгу и приводит из нее крупные цитаты, наиболее ярко характеризующие Розанова, «умершего от революции», как пишет Ю. Мандельштам.

Из этой статьи мы приводим один небольшой отрывок, наглядно и убедительно рисующий Розанова как «одного из самых замечательных сынов России».

Вот этот отрывок (текстуально):

Незаменимое достоинство книги — то, что в ней полностью приводятся не изданные до сих пор тексты Розанова. Несколько статей — предназначенных для «Вешних Вод» и невышедшей газеты, монография об античных монетах, предоставленная Розановым в распоряжение редакции тех же «Вешних Вод», и, наконец, письма последнего периода. Тексты, очень характерные для автора «Уединенного» и «Опавших листьев», в которых полностью оживают не только розановские темы, но его глубина и острота, его столь взволнованный и волнующий тон, его своеобразная манера, вносящая личное, почти что интимное отношение в самые, казалось бы, абстрактные вопросы. Этот дар — не только принимать важное близко к сердцу, но делать его своим, домашним — в высшей степени розановское свойство. Шестов где-то упомянул слова Розанова о том, что Бог ему так же близок, как теплые фланелевые штаны. Бог был близок, действительно, не только душе, но и телу Розанова. Поэтому религия и сочеталась для него со всем — с политикой, с литературой, с нумизматикой. Поэтому философия и жизнь Розанова и впрямь были одним, неделимым целым. Революция, явившаяся ударом по вере и убеждениям Розанова, не случайно ударила и по его здоровью, по его жизненным силам. Розанов в полном смысле слова умер от революции. Предсмертные его письма — одно из самых страшных свидетельств о голгофе России в лице одного из самых замечательных ее сынов...

А. М. Ренников в своей книге «Минувшие дни» посвящает Розанову 16 страниц, но все эти чрезвычайно интересные страницы описывают до-революционного Розанова как сотрудника суворинского «Нового Времени» и других влиятельнейших газет императорской России и не показывает нам Розанова, умирающего от революции, в нищете и голоде.

А. М. Ренников пишет на 176-й странице своей вышеупомянутой книги:

В сущности, определенного стройного мировоззрения у Розанова не было. Было только чуткое иррациональное мироощущение. Его книга «О понимании», логически излагавшая план возможного познания мира путем изучения первоначального строения ума, не внесла ничего значительного в историю классической гносеологии. Но отдельные его прорывы в суть бытия бывали иногда гениальны. Он не умел осаждать тайну мира систематически, упорно, хладнокровно, как это делали прославленные западные философы при помощи дальнобойных орудий своего тяжеловесного мышления. Но ему замечательно удавались темпераментные набеги на истину, в результате чего брал он в плен и глубокие мысли, и блестящие парадоксы...

Пусть определенного стройного мировоззрения у Розанова не было, — но у него был исключительного порядка дар ОЩУЩАТЬ, какими-то путями ЧУВСТВОВАТЬ окружающий его мир во всех его великих и малых делах и людях и делать свои как бы мимолетные выводы — прозрения «сути вещей», излагая эти выводы неподражаемым, своим РОЗАНОВСКИМ языком, — наглядно, выразительно до очевидности и просто до осязания. ГЕНИАЛЬНО, — хочется и нужно сказать вместе с другими.

О Розанове писалось, да и теперь еще пишется много. И пишется заслуженно. Розанов достоин серьезнейшего внимания, — до того необыкновенен был этот вполне самоцветный и вполне русский, пусть мятушийся, но по-своему глубоко религиозный мыслитель. Наш труд посвящен последним дням его жизни, — последним вспышкам его литературно-политической интуиции, где провиденциальное осознание сегодняшнего дня достигло у Розанова глубин прозрения завтрашнего дня в его исторической перспективе.

«ВСЕ НАДО НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА», — констатировал Розанов, УВИДЕВ суть русской революции 17-го года в первые ее восемнадцать месяцев. Он был, кажется, тогда единственным человеком в России, который понял все, — и то, почему «расползлась» Россия, духовно и политически развалилась, — и то, до каких низин «грязный и вонючий разночинец» ее затопчет в кровавом омуте своего все-отрицания.

1

Кто такой Розанов? — Захудалый мещанин, педагог, журналист — гениальный литератор, мыслитель и провидец. — Отношение к нему «левых» и «правых». — Почему называют Розанова «путаным»

Василий Васильевич Розанов умер в январе 1919 года, но страсти вокруг него, борьба «за Розанова» и «против Розанова» не утихли до

сих пор и, пожалуй, никогда не утихнут среди тех, кто так или иначе близок к религиозно-философским течениям мысли, — вообще к пытливой мысли о неумирающих вопросах.

Розанов — это фельетонист и газетный обозреватель, философ и богослов, исследователь древних вер и культов, прежде всего иудаизма и религиозной истории Египта. Розанов — это литератор, публицист и литературный критик, это — создатель нового стиля и новой формы в литературе, это — предтеча француза Марселя Пруста и ирландца Джеймса Джойса, когда словами говорит уже не разум, а сердце и даже сама душа, — когда нельзя читать вслух или слушать автора из чужих уст, когда надо самому читать его и обязательно видеть его строчки, — до того у Розанова важна каждая мелочь вроде кавычек, скобок, запятых, курсивных и жирных слов и так или иначе оттененных выражений.

Некоторые розановские образы, выраженные писателем в двух-трех абзацах, как будто бегло и как будто небрежно, стоят целого исследования, вызывают вдумчивые размышления и удивляют глубиной прозрения, краткостью и яркостью изложения, большим содержанием в малых словах. А некоторые его зарисовки вот такими скупыми, но образными словами производят такое же впечатление, как огромная картина великого мастера-художника, где вы видите все и потрясены всем.

Это особенно ярко и осязательно чувствуется по небольшой статье Розанова о картине И. Е. Репина «Заседание Государственного Совета», помещенной в его книге «Когда начальство ушло». В этой статье, мимоходом написанной, в не всегда законченных мыслях и даже фразах перед читателем встает жуткая перспектива всех начал и причин, почему Россия должна была докатиться в 1905 году до Цусимы, до Октябрьского манифеста, до Государственной Думы, до вынужденного и ненужного участия в европейской войне, до революции 17-го года, до большевизма... А ведь Розанов в этой своей статье совсем не о том говорит. Это — одна из граней гениальности Розанова.

Розанов — это религиозный мыслитель, толкователь Библии и иудаизма, это — борец с казенным христианством и с казенным черничеством. Это — возродитель древнего фаллического культа, тонкий аналитик сексуального вопроса в плоскости исканий божественной сущности мира...

И никак и нисколько не приходится удивляться кипению тех страстей вокруг Розанова, которое продолжается до сих пор и которое едва ли когда уляжется. Одни приходят от Розанова в восторг, другие отплывают от него. Но многие ли имели возможность и силу чутко и вдумчиво прочесть такие книги Розанова, как, например, «Темный Лик», «Семейный вопрос в России», «Из восточных

мотивов», «В мире неясного и нерешенного», «У церковных стен», «Легенда о Великом инквизиторе», «Русская Церковь», «В соседстве Содома», «У истоков Израиля», «Люди лунного света», «Уединенное» и его два короба «Опавших листьев»? Те немногие, которые вместили в себя всю эту богато сверкающую гамму розановских мыслей, образов и зарисовок, поймут всю многогранность Розанова, — поймут, что Розанов шел своей собственной дорогой, только ему одному свойственной и только ему одному под силу, — что гений Розанова не сравним ни с кем по своему широкому своеобразие, по своему удивительному подходу к миру и к жизни мира, по своему исключительному проникновению в нутро мира, восприятию этого нутра и отражению его в словах и чувствах, — поймут, что Розанова нельзя мерить аршином маленьких людей.

О Розанове можно писать книги, и их написано немало, но их будет написано еще больше. Розанов — тема необъятная и неохватная. Тема о Розанове далека не только для философов и богословов. Розанов, не помню сейчас где, писал, что хотя он был человеком с философским образованием и выпустил трактат «О понимании», но считает, что лучшая из лучших его книг — «Уединенное» написана так просто и читается так легко, что ее поймут даже дети малые.

И это правда. Тяжелые рассуждения западных доктринеров, их мешкотные, неповоротливые, где-то и как-то копошащиеся исследования в ворохах всегда нудных и безмерно скучных поисков «разгадки бытия» были органически чужды Розанову. Всех этих «аналитиков», «догматиков» и, выражаясь современным языком, «комментаторов» общественной жизни, создателей и «апостолов» текущих философских и особенно политических доктрин Розанов называл утопистами, а то и просто онанистами. Эти теоретики вызывали в нем отвращение, они возмущали его плоскостью своего мышления, своего подхода к миру, к пониманию ими «подспудных законов» жизни. В партийных людях он видел «органическую узость», отсутствие в них духовной глубины, кривое восприятие ими мира и человека и считал их «фактическими мертвецами», трупный яд которых смертелен для живых и здоровых и государственно опасен для народов земли...

Розанов — это «нумизмат, обыкновенный обыватель и гениальный от рождения мыслитель», как сказал о нем другой замечательный русский человек, тоже мыслитель первой величины и тоже мало кому известный, большой богослов-философ, ныне покойный протоиерей Павел Александрович Флоренский, профессор Духовной Академии, разоблачивший ересь учения о св. Софии, — автор книги «Столп и утверждение Истины», на изучение которой не жалко посвятить несколько лет своей жизни.

Розанов не любил ни писать, ни говорить о своем происхождении, — не о чем было писать и нечего было рассказывать. Родился он 20 апреля 1856 года в убогой, очень бедной мещанской семье, в уездном городке Ветлуга Костромской губернии. Гимназическое образование получил в Симбирске и Нижнем Новгороде, а затем окончил курс историко-филологического факультета Московского университета.

Единственно, чем он гордился, это своим чисто русским, как он выражался, **КОРЕННЫМ** происхождением. Под этим выражением — «коренным», насколько можно было понять Розанова, он имел в виду не только чистоту своей славянской крови и не только свою низовую генеалогию, но и свою здоровую, природную и никак и ничем не поврежденную, как теперь пишут, **РУССКОСТЬ**.

По профессии Розанов был преподавателем словесности, истории и географии в Елецкой гимназии и разночинцем в провинциальном обществе — скромный и незаметный. В 1893 году Розанов попадает в Петербург чиновником Государственного контроля, прослужив по учебному ведомству всего тринадцать лет.

В русскую литературу он вошел незванным и совершенно неожиданным гостем. Остающееся от педагогической деятельности время он посвящал «пописыванию» в разные издания, но это «пописывание», эти его первые литературные шаги ничем не отличали Розанова из рядовой «пишущей братии».

В 1898 и 1899 годах он опубликовал даже две свои книги в скромном издании П. Перцова. Одна представляла сборник статей Розанова на педагогические темы, другая — «Литературные очерки». Обе книги были «как все», ничего особенного, умно и толково написанные, и только. Ничего «розановского», как мы теперь понимаем это, в них не было.

Не сразу Розанов выявил себя известным нам Розановым. Семена его исключительного дарования долго лежали «под спудом» как бы несуществующими, переживая медлительный процесс брожения и всхождения. Это был период поистине мистический, — не то чтобы «исканий» и расчетливых размышлений и поисков, куда бы и как бы приложить свои силы. Это был момент созревания бутона неведомого цветка, и едва ли сам Розанов сознавал, ЧТО именно выйдет из этого бутона. Ни темы своей жизни, ни канвы своего творчества, ни стиля своего языка, ни манеры подхода к миру и к людям, — вообще ничего о себе в тот период Розанов не знал, — кто он, «пописыватель» или гениальный мыслитель и негаданной силы литератор.

И только в самых первых годах XX века, уже на склоне своих лет, когда его фельетоны стали появляться на страницах влиятельнейшей петербургской газеты «Новое Время» (А. С. Суворина), бутон

неведомого цветка начал распускаться. — облик подлинного Розанова быстро формировался в явление исключительного порядка. Известность Розанова стала стремительно расти и привлекать у одних благожелательное внимание, у других настороженное.

Газета «Новое Время» повсеместно в России читалась высшими представителями правительства, чиновниками всех министерств и ведомств, иерархами Церкви, военными кругами и Гвардией и вообще всеми монархически настроенными кругами русского общества. Газета эта в своем политическом кредо стояла на страже государственных интересов исторической России.

И посему левой российской интеллигенцией называлась «консервативной» газетой, не идущей в ногу с «прогрессивной» политической мыслью, — «косной» и «отсталой». Эти круги встретили появление Розанова, выплывающего на большую волну, сперва сдержанно и крайне подозрительно, а затем вскоре открыто возненавидели его. Розанов оказался не их лагеря, а когда некоторые статьи Розанова появились и на страницах так называемой «либеральной» печати, эти круги стали ругать его «двурушником» и, наконец, «заклеймили» его «Иудушкой».

Левые круги, меряя все и всех шаблонной меркой, не могли разглядеть Розанова и понять, что широкий горизонт умственных оценок Розанова не укладывался ни в какие партийные шоры. Розанов по природе своей был вне всяких шор, он просто не умещался в них и не мог уместиться в них никак, — он видел то, чего они не видели, и понимал то, что им было органически недоступно. Они требовали «ответ по шпаргалке», «бег в крепкой узде», печать «передового борца», а Розанов бросал им «слова по существу», открывал им такие бездны в их «больных вопросах» и в ими же надуманных теориях «социального благоустройства», что г<оспо>дам «прогрессистам» ничего не оставалось делать, как или ругать Розанова, или замалчивать его и вообще отмалчиваться. Они так и поступали.

Спорить с Розановым, в серьезном смысле этого слова, г<оспо>да «прогрессисты» не могли. Они выступали с палками, а Розанов бил их пулеметом. Борющиеся стороны были разного калибра. И врагу, умственно слабому, но сильному своим напором, своей организованностью и своими деньгами, оставался лишь один путь, — улюлюканья и «запрета на Розанова». Но как замолчать того, о котором говорила вся читающая Россия, без мнения которого не обходился ни один религиозно-философский спор, с голосом которого считалась и голоса которого искала вся умственно чуткая **русская элита**..

И Розанов шел своим путем, не обращая никакого внимания на это улюлюканье и даже не замечая его. Травля со стороны левых не мешала Розанову расцветать, с каждым годом увеличивая длин-

ную вереницу своих искренних друзей, почитателей и поклонников. Правда, и в крайне правом лагере были скептики, отвергающие Розанова, упрекавшие его в «заумничанье», в «неуместном пересоле», в «странной гибкости» и даже не то чтобы в безбожии, а в каком-то «кошунственном язычестве».

Но все это никак не колебало поступь Розанова. Он знал, что внутренне он прав, что во всей этой возне вокруг его имени много вздора, клеветы, интриг, зависти и страха. Завидовали потому, что рядом с ним никак нельзя было встать «в одну шеренгу». Как всякого гениального писателя, Розанова нельзя было имитировать, под него нельзя было подделаться и его нельзя было подделать, и подражать ему было невозможно. Розанов был и остается явлением в своем роде единственным и неповторимым.

Страх у левых перед Розановым был обоснован. Если бы влияние его и понимание его ширилось и углублялось по периферии всех русских общественно-политических кругов, то революционная акция по расшатыванию государственных устоев исторической России не только приостановилась бы, но стала бы сокращаться. Поэтому злоба против Розанова и поношение его вполне понятны, — как понятно и то, что эта стихия черни, умственно и морально урезанная, болталась где-то у ног и под ногами Розанова, вызывая у него лишь досаду и брезгливость. Он эту стихию называл (вернее, ругал) одним словом — «социал-демократией», желая подчеркнуть этим этическое ничтожество этой стихии, ее политическое убожество и невежество, — «передовое невежество», по его выражению. Насколько Розанов был «вопиюще» прав, это теперь хорошо и наглядно известно всем.

Что пророка и провидца всегда травили и даже побивали камнями — история обычная. Так было, и так, очевидно, будет, ибо чернь есть чернь.

У нас так было с Гоголем, с Достоевским, с Константином Леонтьевым. Так случилось и с Василием Васильевичем Розановым.

* * *

Но время шло. И вчерашние враги Розанова, наиболее совестливые, умственно наиболее трезвые и духовно наиболее свободные, мало-помалу убеждались, насколько глубоко подходил Розанов к шуму земли и насколько он верно хлестал своим словом тех «вонючих разночинцев», которые подрубали русские корни, чтобы заменить их ядовитой паутиной «осуществленного социализма».

В частности, наиболее отрезвевшими были Алексей Ремизов, Зинаида Гippiус, Бердяев... Все они в конечном итоге своего «жизненного опыта» пришли к одному выводу, к заключению о том, что

Розанов был «огромное явление в русской литературе», что он был «замечательным и оригинальным мыслителем», что «его недооценили в свое время» и «плохо понимали». При этом Бердяев то ли в шутку, то ли с вдумчивой мыслью как-то назвал Розанова «гениальным обывателем».

Да, Розанов был и обывателем, но и обывателем он был особенным, и главная особенность его сказывалась прежде всего в искренности и честности, в его простоте и доступности. И в наивности до порою непонятной вроде как бы юродивости. Какой другой писатель и философ мог так говорить о себе при жизни, как говорил и писал про себя Розанов в своих «Опавших листьях»:

— Во мне ужасно много гниды, копошащейся около корней волос. Невидимое и отвратительное. Отчасти отсюда и глубина моя...

И тут же рядом Розанов пишет:

— Люблю чай, люблю положить заплаточку на папиросу (где прорвалась). Люблю жену, свой сад (на даче).

— Хочу ли я играть роль? Ни малейшего желания (с. 507). Хочу ли я, чтобы очень распространилось мое учение? Нет! Вышло бы большое волнение, а я так люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон (там же, с. 95).

Запись в Сергиевом Посаде от 9 мая 1918 года. Великий Четверток:

— Только что простоял «со свечечками». И опять пережил умиление.

Обывательское все это?

— Ну, конечно, обывательское, — скажет читатель, но в голосе его послышится какая-то осечка.

Все это обывательское, — верно. Но написано все это не по-обывательски. Простоял «со свечечками»... Всего-то здесь два с половиной слова, а какая гамма впечатлений! Вот эта гамма впечатлений проходит через все литературное творчество Розанова, — гениальное творчество, «неудобное» для русских недругов, но близкое и дорогое русскому сердцу.

Только не надо смотреть на Розанова по-обывательски. Трудно это передать словами, — Розанова надо чувствовать.

* * *

Тут же, сейчас же хочется сопоставить эти розановские «свечечки» и это розановское умиление от Четверговой службы с фразой Феофана, впоследствии архиепископа, а тогда инспектора Петербургской Духовной Академии, сказанной им в объяснение, почему он вышел из комнаты, завидев Розанова:

— Оттого ушел, что Розанов пришел, а он — Дьявол!

Но дальше.

Такие вопросы, как

— Был ли Розанов церковным человеком?

Или

— Был ли Розанов антисемитом?

Или

— Был ли Розанов монархистом?

Такие вопросы о Розанове бесполезно, да и нельзя было задавать, их в серьезных кругах и не задавали. Не умещается Розанов в рамках вот таких обывательских вопросов, ибо такие вопросы обычно задавались, чтобы сопоставить с кем-то и определить то или иное лицо, — чтобы или укорить и обличить, или похвалить и порекомендовать, — вообще как-то охарактеризовать. А с кем Розанова можно было сопоставить, коли он был единственным по своему глубокому и многогранному своеобразию?! Чтобы «легко и просто» определить Розанова с обычной точки зрения, нужно быть или предвзятым, или органически узким, или вообще верхоглядом, не отдающим отчета в своей болтовне.

Так обычно и шло определение Розанова. Когда вышла его книга «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», еврейские круги с яростью «заклеймили» его антисемитом, варваром и мракобесом, но не посмели назвать лжецом, а Розанов в этой книге никакой пропаганды против евреев не вел, — он вскрывал в ней отношение евреев к крови в мистическом плане обрядовой стороны, так же, как это он делал, копаясь в «египетских пирамидах». Евреев возмущало, — зачем Розанов вскрывал это отношение и шел в своем анализе так далеко. «Какое ему дело до наших обрядов?..»

Когда же вышли такие розановские книги, как «Когда начальство ушло», «Темный Лик» и «Люди лунного света», те же еврейские круги и та же «передовая» печать считали Розанова если не своим, то своим «без пяти минут», — он «вскрывал пороки царского правительства», он «обнажал темные стороны омещанившегося христианства», он «уличал черноризцев в праздности и тунеядстве...» Тогда как на самом деле ни того, ни другого, ни третьего в этих книгах Розанова не было, но толковать их можно было и вкривь и вкось, прилаживая те или иные отдельные мысли Розанова к тому или иному трафарету или к тому или иному политическому коленцу или «философскому» выверту розановских «обозревателей».

То же и по монархической линии. Книги «Когда начальство ушло» и «Люди лунного света», выпущенные Розановым в 1905–06 годах в Париже, очень не нравились петербургским монархистам. Они укоряли и даже обвиняли Розанова в «нелояльности», в «чрезмерном вольнодумстве», в «бесцеремонном нарушении и даже попрании верноподданнических чувств», чуть ли не в измене «Трону

и Церкви». И в то же время, «под секретом и втайне», учились «монархической мудрости» по розановской книге «О подразумеваемом смысле нашей Монархии», выпущенной в 1912 году, в которой особенно штудировали VII главу (с. 48–54).

В этой книге Розанов освещал глубинную сущность монархического начала вообще и русской Монархии в частности так, как никто не освещал до него и после него. Наиболее яркие, характерные и показательные выдержки из этой книги читатель найдет дальше.

Эта одновременная «любовь» и «ненависть» к Розанову, тяга к нему и отталкивание от него, приятие его и его отвержение лишь повторно показывают, что нельзя ценить или не ценить бриллиант по его тому или другому **одному** лучу. Розанов поистине был велик, и поэтому к его творчеству приходится и нужно подходить с величайшей осторожностью — не в смысле боязни принять «гнилушку за породу», а в смысле уразумения его.

Розанов честен до конца и во всем. И если что-то в нем нам не нравится, кажется «странным» и «неудобоваримым», то исключительно потому, что мы еще «не охватили предмета». Умные враги Розанова понимали силу глубины розановских озарений и его провидений и поэтому молчали о нем «до крайнего случая», видя не только бесполезность, но и вред и даже комизм спора с ним. Что бы, как бы и где бы Розанов ни писал, конечные выводы и утверждения Розанова никак не совпадали с «программными установками» его врагов, — Розанов твердо шел и к Богу и к Царю, но он шел не нашими путями. У него был свой аршин, свои весы и свой ланцет, чего мы часто не учитываем и потому до сих пор называем его «путаным».

Путаного у Розанова и в Розанове ничего нет. Он не прыгал по кочкам, не метался по боковым тропинкам, никогда не делал никаких заячьих петель. Перед ним, в его нутре разворачивалась ясная и прямая дорога, и он в каком-то смысле как сомнамбула даже не шел, а несся по этой дороге, видя и рассказывая нам то и так, что не всегда укладывалось в нашем мозгу и не всегда бывает близко нашему сознанию.

2

***Мое знакомство с Розановым через В. В. Андреева —
основателя и дирижера Великорусского оркестра. —
Журнал «Вешние Воды». — Розанов редактирует в нем
отдел «Из жизни, исканий и наблюдений студентства»***

Познакомил меня с Розановым основатель и дирижер Великорусского оркестра, солист Его Величества Василий Васильевич Андреев, в то время очень популярный в Петербурге человек как «фанатик ве-

ликорусского дела» и горящий спорщик с Глазуновым — композитором, профессором и директором Петербургской консерватории — на тему о том, может ли Великорусский оркестр подняться на высоту симфонического. Глазунов с гневом отрицал всякую возможность «поднять балалайку» до совершенства скрипки. «Нелепостью звучит, — утверждал Глазунов, — желание струнный балалаечный оркестр сделать симфоническим!»

В ответ на это глазуновское «нет!» Андреев делал чудеса со своим оркестром в 70 человек. В этот оркестр входили: балалайки (прима, секунда, альт, бас и контр-бас), домры (пикколо, малая, альтовая, тенор, бас и контр-бас), гусли (диатонические и хроматические), свирели и жалейка (или «брелка» — пастуший рожок), бубен, тарелки, треугольник, литавры (или «накры» — старинное название литавр, которые ранее были глиняные) и колокольчики.

Андреев давал в Петербурге не более одного-двух концертов в год и часто выезжал со своим оркестром в турне по Европе и в Северную Америку. Все его выступления сопровождались исключительным успехом, — он исполнял очень сложные вещи, преподнося их слушателям во всей полноте их тончайших нюансов.

Жил в то время Андреев на Мойке, 64, недалеко от Невского проспекта и занимал во втором этаже большую угловую квартиру. Громадная угловая гостиная представляла собою на редкость интересный музей, все стены и изящные старинные столы которой были увешаны и заставлены подарками его заграничных и российских поклонников. Тут были и картины голландских, бельгийских, французских, русских художников, и коллекция лондонских, порой забавнейших курительных трубок, и красочный костюм индейского вождя-воина с полным его вооружением, не менее как по дюжине севрских тарелок, чашечек и кружевных вазочек тончайшей работы, и массивные увражи *in folio* с изумительными гравюрами и переплетами, — какие-то ткани, какие-то редкостные и древние безделушки... Особо, в простенке между двух окон, выходящих на Мойку, стоял из красного дерева шкаф с зеркальными стеклами, за которыми на полочках лежали подарки Высочайших Особ. Выделялся подарок Государя — дирижерская палочка из какого-то светлого дерева, на одном конце которой была из кованого золота Императорская корона с крупным бриллиантом голубой воды.

Андреев умер в конце 1919 года, вслед за Розановым, на 62-м году своей жизни. Его гроб выносил Шаляпин с другими близкими друзьями покойного. Похоронен Андреев в Александро-Невской лавре. Судьба его музея неизвестна.

Памятью о нем у автора этих строк сохранился единственный экземпляр его «Справочника или краткого руководства для оборудова-

ния Великорусского оркестра», с рисунками и чертежами, изданного «Вешними Водами» в 1916 году. Первое издание этого Справочника было одобрено департаментом Министерства народного просвещения в библиотеки высших начальных школ.

Познакомился я с Розановым осенью 1913 года, будучи студентом Императорского С.-Петербургского университета и одновременно редактором-издателем ежемесячного литературно-художественного студенческого журнала «Вешние Воды», девизом которого было пушкинское — «Дорогою свободно, или Куда влечет тебя свободный ум!»

«Вешние Воды» начали свое существование со сборничков, которые стали выходить с ранней осени в 1911 году тиражом в одну тысячу экземпляров, объемом в 60—70 страниц. В них помещались передовицы, статьи, вернее, статейки, обзоры, рассказы, стихотворения, рисунки в виде «свободных композиций», виньетки разные, — все это было произведением студентов главным образом Петербургского университета и студенток Высших Бестужевских и Раевских курсов и учащейся молодежи из Академии Художеств и Школы Общества художеств, директором которой был в то время Н. К. Рерих, господин довольно суровый, но терпеливо относящийся к сотрудничеству учеников своей Школы в «Вешних Водах».

Образовался этот кружок «начинающих» как-то буквально «милостью Божией», самотеком, за стаканом чая, путем знакомства в университете и на вечеринках. И мысль, почему бы не попробовать печатать свои «произведения», возникла тоже самотеком по линии юного задора и «дерзаний». Осуществление этой мысли выпало на мою долю, ибо от лекций и экзаменов у меня оставалось еще время. И энергии девать было некуда.

Политическое кредо наших сборничков было самое простое, — РУССКОЕ, пытливое и ищущее, вне всякого партийного политиканства, вне какой бы то ни было демагогии. Выходили сборнички случайно, раз пять в год, по мере накопления материалов и «ресурсов». Перед выпуском каждого сборничка происходили у меня на дому — «в редакции» скромные собрания сотрудников и сотрудниц «Вешних Вод». Читались первые робкие литературные попытки, обсуждались поступающие письма в редакцию — отзывы и отзвуки из провинции, рассматривались принесенные рисунки, велись оживленные разговоры о литературных новинках, о популярных лекциях на религиозно-философские темы, о новых театральные постанов-

ках, о выставках картин, — «чей был лучше Христос — Иванова или Врубеля?».

Марксисты чуждались «Вешних Вод». Они не видели в сборниках «политической платформы», их настораживало и пугало отсутствие «социалистического подхода к устройению жизни», отсутствие обсуждений «положения фабрично-заводских рабочих», критики «правительственной политики», — критики, в которой, кроме «системы прижимов народных масс», они не замечали ничего. Одним словом, «Вешние Воды» на втором году их существования были признаны левым крылом петербургского студенчества «изданием явно враждебным социал-демократическому движению российской молодежи» и посему подлежащими «забвению», — проще говоря, бойкоту.

Но, как это ни странно, бойкот «Вешних Вод» красным студенчеством не мешал нашим сборничкам крепнуть и расти. Агентства по распространению периодической печати в крупнейших городах Европейской России и Западной Сибири охотно брали наши сборники, получая 40% комиссионных, — и продавали все, без возврата. А мы не гнали за наживой, — лишь бы оправдать типографские расходы и кое-какие платежи по объявлениям в московских, киевских, харьковских и казанских газетах.

Дело шло, и в январе 1913 года наши сборнички вылились в ежемесячный литературно-художественный студенческий журнал в 150—160 страниц, неплохо оформленных «внутренне и внешне». Что журнал был неплохо оформлен, видно было по сотрудникам, — среди «студенческих фамилий» все чаще и чаще стали мелькать имена проф. П. И. Ковалевского, проф. В. М. Грибовского, академика А. И. Соболевского, проф. П. Е. Казанского, «балалаечника» В. В. Андреева, священника-публициста А. П. Устьянского...

Все это были «несознательные» и потому «непередовые» люди, но все они были честными и верными защитниками национально-государственных интересов России.

Обратила свое внимание на «Вешние Воды» и газета «Новое Время» — «владетельница дум» коренной России. Первыми «нововременцами» на горизонте «Вешних Вод» появились талантливый критик А. А. Бурнакин и самая любимая корреспондентка Розанова — московская курсистка Вера Мордвинова, молоденькая девушка лет 17—18. Она иногда приезжала в Петербург, бывала у Розанова и заходила ко мне, — и была на редкость даровитая. Вскоре за ними появились и два основных столпа «Нового Времени» — М. О. Меньшиков и В. В. Розанов. К этому моменту относится организация при «Вешних Водах» Литературно-художественного общества, — и редакции нашего журнала из обыкновенной квартиры на 7-й Рож-

дественской, 4 («Пески»), пришлось переселиться в обширный апартамент с залой и двумя гостиными (не считая редакционных помещений и моих личных комнат) на Фонтанку, 88, по другую сторону которой, слегка наискосок, находился «Малый театр» Сувориных, артисты которого были всегда желанными и частыми гостями наших вечеров.

Очень дружелюбно относился к «Вешним Водам» и главный редактор «Нового Времени» М. А. Суворин, через руки которого иногда проходили и мои рукописи. Помнит «Вешние Воды» по Петербургу и Ив. Солоневич, о чем он вспоминает в своем письме ко мне от 23 ноября 1937 года, когда в Софии он издавал газету «Голос России» и звал меня из Тегерана «переселиться в Европу»...

* * *

Да простит меня читатель за это невольное отступление от основной темы моей книги, но без этого отступления была бы неясна моя связь с Розановым и связь Розанова с «Вешними Водами».

Очевидно, что-то было в «Вешних Водах», что способствовало бытию этого журнала и его росту. Было прежде всего то, что «Вешние Воды» являлись в то время единственным студенческим журналом РУССКОГО И ПРАВОСЛАВНОГО содержания не в смысле буквы, а по духу, — свободного от всяких партийных пут, внушений, понуканий и субсидий. Пожалуй, именно это невольно и привлекало к себе доброжелательное внимание многих противников разложения и разрушения исторической России.

Не утерпел и Розанов поближе подойти к молодой национально-русской мысли...

Итак, Василий Васильевич Андреев привез меня к Василию Васильевичу Розанову осенью 1913 года, под вечер, часов в 5 дня. В те дни Розанов жил на Коломенской, 33, в первом этаже, в довольно просторной, но темноватой квартире.

Я увидел перед собою, как мне в то время казалось, «глубокого старика» (Розанову было 60 лет), среднего роста, худощавого, мешковатого, приветливого, но несколько как бы не то сумрачного, не то чем-то постоянно озабоченного человека.

— Здравствуйте, здравствуйте, — проговорил скороговоркой Розанов, пожимая мне руку и улыбаясь, — это вы-то и есть!

И почему-то дотронулся до моей «золотой» пуговицы на студенческой тужурке. Точно погладил ее и что-то одобрил.

— Читаю, читаю «Вешние Воды»...

И, сразу оборвав речь, точно вспомнил о чем-то:

— Сейчас чайку попьем со сливочками!

И засеменил в столовую.

Комната, где нас принял Розанов, была обширная. Она исполняла роль и рабочего кабинета, и гостиной. В одном углу стоял большой рояль, вдоль противоположной стены тянулась мягкая, длинная и широкая ковровая оттоманка, а где-то посредине у окон громоздился объемистый письменный стол, засыпанный книгами, журналами, газетами, рукописями и гранками оттиснутых статей, очевидно, для правки.

— Да, читаю, читаю, — возобновил свой разговор Розанов, вернувшись из столовой. А скажите, пожалуйста...

Тут пошли вопросы, обсуждения, рассуждения, которые кончились тем, что Розанов категорически заявил:

— Как только я подберу необходимый материал, так сейчас же мы заведем в «Вешних Водах» новый отдел...

И действительно, месяца через четыре Розанов звонит мне по телефону: «Приезжайте за рукописями, я кое-что приготовил для «Вешних Вод»».

Так в журнале обосновался под личной редакцией Розанова своеобразный отдел «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества». Нужно ли говорить, что этот отдел еще шире раздвинул круг читателей «Вешних Вод», сделав этот журнал центром «наиболее думающего» (по выражению Розанова) русского студенчества.

Отдел этот Розанов вел крайне оригинально. Около его письменного стола, в одном из простенков между окон, стоял довольно высокий специальный шкаф, имевший до 30 глубоких ящиков (по алфавиту). Все ящики этого шкафа были набиты письмами. Розанов этот шкаф называл «студенческим».

С Розановым переписывалась или по крайней мере писала ему буквально вся живая, действительно мыслящая и духовно независимая российская студенческая молодежь обоего пола, отзываясь на те или иные книги и статьи Розанова. Отзывалась молодежь горячо, возбужденно: то с негодованием — «где же тут христианство?!» или «не впадаете ли вы в ересь?». То с восторгом — «вы необыкновенный мыслитель и диагност и превосходный стилист!» или «позвольте вас поцеловать...» То с укором, почему он так «решительно» пишет? Где его «обоснование знать все»? И с наивнейшими вопросами, откуда у него «такая интуиция», чтобы так «все рядить, судить и достигать?..»

Были письма и сентиментальные, иногда тоже с укором, почему бы ему не расширить «объем своих восприятий» в сфере «любви сердца» за счет «любви разума», ибо последняя и «губит мир»... Были письма и очень уж солидные по невероятному количеству страниц (такими письмами почему-то особенно отличались киевские

студенты), — в них уже не писались, а трактовались то «заблуждения», то «странные подходы» Розанова к проблемам «восприятия мира», «понимания человека», «освещения религий», «пола, девства ИЛИ смерти»... И давались не то чтобы указания, а пожелания, как «по-настоящему» следовало бы «подходить к жизни». Письма последнего порядка Розанов пересматривал всегда с улыбкой, молча и как-то весело, точно именно эти письма доставляли ему наибольшее удовольствие.

Я как-то спросил:

— Василий Васильевич, сколько же надо времени и терпения разбирать пачку страниц каждого вот такого письма!

— Ну, что вы, минут пять-шесть, максимум десять, не больше. Прочтешь заключительную страничку и подпись. Вот и все, и уже все знаешь, КТО пишет и по ТОМУ, кто пишет, видишь содержание *всего* письма. «Кто», конечно, не в смысле фамилии. Потому-то и легко такие письма получать, и совсем легко читать их, — пусть лежат спокойно в стопочках других!..

Вот из этого архива, непрерывно растущего, Розанов и черпал неистощимый материал для своего отдела в «Вешних Водах». Обычно он брал письма сравнительно короткие, наиболее ярко выражавшие ту или иную мысль и наиболее кратко, метко и острее ее преподносившие. И случалось довольно часто так, что к такому почему-либо характерному письму Розанов писал свое подстрочное примечание иногда в виде целой и даже весьма объемистой статьи, где очень часто можно было встретить совершенно необыкновенные, чисто розановские озарения по целому ряду религиозно-философских проблем и где он так щедро сыпал своими удивительными выражениями, полными яркой остротой мысли и глубиной чувства. Это мы увидим дальше на одном примере.

Конечно, этот розановский отдел, с такой постановкой его, сильно взвихрил внимание к «Вешним Водам», и бойкот журнала со стороны «товарищей слева» мог только смешить своей наивностью и своим бессилием.

3

Примечания Розанова к студенческим письмам. — Характер и значение примечаний

В своем отделе «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества» Розанов между прочими письмами печатал почти в каждом номере журнала письма москвички Веры Мордвиновой, о которой мы упоминали выше и которую Розанов за ее живой, острый и наблюда-

тельный ум и за ее глубокую любовь к России особенно выделял из среды других своих многочисленных молодых корреспондентов.

Среди неопубликованных писем и рукописей Розанова, которые автору этих строк удалось вывести с собою из СССР в 1926 году (в Персию, — в Европу большевики меня не пускали), каким-то чудом сохранилось одно из розановских примечаний — подлинников на двух длинных и узких листках. Это — ПРИМЕЧАНИЕ О ЦЕРКВИ. Оно было написано к одному из писем Веры Мордвиновой. И письмо, и примечание это в свое время (кажется, весной 1916 года) были напечатаны на страницах «Вешних Вод».

Вот это примечание текстуально, полностью по сохранившейся рукописи, без всяких изменений и сокращений:

Здесь драгоценно слово — «приладили» и ТОН всей заметки, далекий от осуждения и проклинания отцов, хотя бы и Западной Церкви.

Дело идет о главе «Великий инквизитор» в «Братьях Карамазовых». По Достоевскому, Западная Церковь, — папы, кардиналы и инквизиторы ИЗВРАТИЛИ СОЗНАТЕЛЬНО учение И. Христа, ПОДМЕНИЛИ его своим церковным, своим католическим учением, основав его «на чуде, тайне и авторитете», тогда как Христос в ответ на дьяволово искушение отверг и чудо, и тайну, и авторитет, жажда «сделать людей свободными».

Достоевский в великом пафосе написания этой знаменитой главы торопливо и сгоряча упустил из виду, что ведь и Православная Церковь, им столь безмерно любимая и для него вполне истинная, хочет и «таинств» (семь церковных таинств), и «чудес» (чудеса И. Христа, чудеса святых Церкви), и «авторитета». Как будто митрополит Филарет не имел авторитета и, главное, НЕ ХОТЕЛ его; как будто «старцы» в монастырях не суть ВЕЛИКИЙ АВТОРИТЕТ ДЛЯ МИРЯН.

Все это вполне удивительно, что заявил Достоевский. От главы «Великий инквизитор» прямая дорожка идет к статье «Разрушение ада и восстановление ада» гр. Л. Н. Толстого, — по учению коего тоже «И. Христос разрушил ад, упразднил его, а церковная иерархия или, вернее, история Церкви восстановила ад».

Великолепное и дивное изложение Достоевского ПО МЫСЛИ и особенно ПО ЗАДАЧЕ, ПО ТЕМЕ не разнится от написанного хладющей рукой Толстого совершенно ничтожного освещения церковной работы. И оба эти изложения просто ведут к протестантизму, лютеранству, к рационализму и, главным образом, штунде; то есть ведут ОЧЕНЬ НЕДАЛЕКО.

Через 35 лет по написании знаменитой главы (о Вел. инкв.) от нее ничего не остается. Вдруг выходит девушка, в сущности — девочка (я извиняюсь перед автором письма), и говорит просто в приватном смысле: «Они приладили», они — «любя людей, сделали», — и только от мысли Достоевского и Толстого остается нехорошо

отрыжкою — «извратили». Я решительно отвращаю и это «извратили». В. М-ва очень хорошо их называет уже «отцами Церкви», а не «инквизиторами».

Обратимся к истории. От блаженного Августина до Папы Льва Великого, да и вообще вплоть ДО САМОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЕЗУИТСКОГО ОРДЕНА, т. е. во весь КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, ни у одного из строителей ее не было мысли, что он «извращает учение И. Христа» и творит что-то скверное, дурное, дьявольское! Нет, нет! — этого самоощущения не было!!!

Жиджители Церкви, и Западной, не говоря уже о Восточной, — именуются и сами себя САМООЩУЩАЛИ ОТЦАМИ ЦЕРКВИ, т. е. «старцами добрыми, заботливыми, хлопотунами около людей», — насадителями Вертограда Господня! Да они бы все удавились от горя, если бы в их голову и сердце закралась хотя малейшая мысль о том, что они «извращают и подменяют учение И. Христа и Евангелие». А если не было сознания об этом, то НЕ БЫЛО ЭТОГО И НА ДЕЛЕ, хотя ошибки и уклонения и могли быть (споры в истории Церкви, ереси, сектантство).

Но «ошибка» и «злостное извращение» — большая разница. Нет, они были воистину «отцами», заботниками, и Николай Мирликийский, и святые Василий и Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст, и наши русские Отцы, и, наконец, — западные, до несчастного прихода Лютера, когда все СЛУЧИЛОСЬ в Западной Церкви, и в смуте появилось отчаяние о спасении людей, и в отчаянии зародился иезуитский орден, поведший дело «*va bank*».

«Хоть обману, да спасу». Но это относится к истории Церкви ПОСЛЕ ЛЮТЕРА, тогда как и Достоевский и Толстой говорят оба о ДО-лютеровском христианстве, о классическом периоде Церкви, о ВСЕЙ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА НА ЗЕМЛЕ.

Смотрите же, как МЯГКО ЛЕГЛО ЭТО у девушки: «Они приладили все к людям», «любя их...» О, тогда, они «отцы». Устранено жестокое; устранен гнев и ярость, — и подразумеваемая во всяком гневе содержащаяся КАЗНЬ.

А ведь и Достоевский и Толстой в «Восстановлении ада» — оба дышат казнью на Церковь, на историю!!! Какие ужасы! К ним подходит, к двум старцам, девочка 19 лет и останавливает за плечо: «Что вы, — они добрые! Они — отцы! У них не было, ни у одного, злоумышления, а они все ПРИЛАЖИВАЛИ к людям и нуждам их».

В самом деле: вот обряд погребения. Возник ли он со слов И. Христа: «Оставьте мертвым погребать мертвых»? Явно — нет. Это — новое, тех «отцов» соделанное руками; и всякий из нас, у кого умирает отец или сын, — целует за эту работу руку тех отцов. «Сии суть отцы Церкви, ибо нас утешили».

А литургия? ОНА УТЕШАЕТ НАРОДЫ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЛЕТ. — хотя ее нет в Евангелии. Кто же смеет сказать, что «извращение»? Да ведь и Христос Сам изрек об учении своем, что оно «по-

добно ЗАКВАСКЕ, которую женщина кладет в муку», — и тогда тесто ВСХОДИТ. Так — «всходит», а не «прокисает».

«Восхождение теста» и есть «Церковная история», из ЧИСТЕЙШЕГО СЕРДЦА ВЫРОСШАЯ; восхождение, в основу коего положено Евангелие, и Господь наш Иисус Христос, и Апостолы, и мученики.

Эх, господа литераторы, пусть и великие, надо бы ОСТОРОЖНЕЕ ходить около того, на что молятся мужики, бабы, дьячки, мещане, купцы, наши сородичи, наши соседushки, коих большие миллионы, и еще больше этих миллионов легло в землю, и все умерли... а теперь все живут с верою, что

ЦЕРКОВЬ СВЯТА

И воистину как

ЧИСТАЯ ДЕВА, НЕВЕСТА ХРИСТОВА.

Осторожнее, осторожнее здесь, — здесь страдание и труд человеческий.

В. Розанов

* * *

Уже по одному этому примечанию можно судить, какой интерес представлял для молодых, да и не только для молодых, розановский отдел в «Вешних Водах», не говоря уже о статьях, беллетристике и о прочем НЕ-случайном материале других сотрудников журнала.

Была мысль издавать этот отдел, помимо его ежемесячного печатания в журнале, в виде ежегодника, выпуская его в конце декабря каждого года, — чтобы можно было легко находить толкования Розанова на затрагиваемые в письмах ему вопросы. И кроме того, удовлетворить желание некоторых читателей «Вешних Вод» — «иметь Розанова в особом издании».

Среди розановских примечаний были и короткие, всего лишь в две-три строки, вроде такого: «О чем так волнуется автор, застилая от себя своим многословием простое положение...» И дальше следовало это «положение», выраженное в четырех-пяти словах.

Но иногда Розанов, как видим, увлекался и отвлекался от главной темы того или иного письма так сильно в сторону, что его примечание превращалось в солидную главу еще не написанной книги.

Из предложения выпускать в конце каждого года «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества» отдельной книгой ничего не вышло. «К чему это! — отверг Розанов. — Пусть хранят “Вешние Воды”. Журнал в целом пригодится всем, а не только мой отдел...».

Письма Розанова от 1918 года. — Жизнь Розанова в Сергеевом Посаде — нищета и голод. — Характеристика о. Павла Флоренского. — Нигде не опубликованные статьи Розанова: «Рассыпавшиеся Чичиковы» О мертвых душах российских времен Государственной Думы). — «С пегальным праздником» (Св. Пасха 1918 года). — Студенческие сборники и передовицы Розанова. — Характеристика Розановым Э. Ф. Голлербаха, Любови Мурахиной и о. Павла Флоренского

Из тех писем Розанова, которые лежат перед автором этих строк, мы приводим ниже лишь полученные от Розанова из Сергеева Посада, куда он переселился из Петербурга в конце 1917 года после закрытия газеты «Новое Время», где он был одним из главных сотрудников.

Из этих писем читатель увидит, до каких низин нужды и голода дошел Розанов с первых же дней Октября и какими тяжелыми душевными впечатлениями эти дни легли на его мысли и чувства. Эти письма характерны еще тем, что они являются документальным свидетельством чуткого и глубокого ума, какое великое несчастье постигло Россию, свалившуюся в яму социалистического бреда и блуда, и какая длинная полоса ЛЖИ И КРОВИ стала терзать и захлестывать русский народ в результате «хлопотливой заботливости» о нем прекраснодушных российских либералов, прогрессистов и прочих «передовых» общественно-политических деятелей, столь энергично и хвастливо и даже с гордостью подрубавших корни императорской России...

Перед этими письмами бледнеют всякие воспоминания. Как общее правило, всякое воспоминание отклоняется от истины в ту или другую сторону. А здесь мы видим человека необычайных умственных дарований, всегда честного и всегда искреннего и всегда стоявшего вне каких бы то ни было партийных шор, — непосредственно кипевшего в этом несчастье и в процессе кипения фиксирующего свои переживания так, как Бог ему клал их на душу, вполне правдиво и точно. Его голос шел из самого котла разворачивающейся трагедии, а не от стоящего в сторонке, в тиши и покое, и описывающего свои воспоминания, да еще под углом тех или иных настроений.

Много ли мы имеем таких писем от таких людей! Отсюда историческая ценность писем Розанова от 1918 года.

Приводя письма Розанова, как и в дальнейшем нашем изложении его неопубликованные статьи, мы сохраняем все особенности роза-

новского стиля, его курсив, его кавычки, многоточия и прочие знаки, без коих Розанов себя не мыслил, ибо для оттенков своих мыслей и настроения у Розанова до очевидности не хватало слов на нашем обывательском языке.

И еще, — Розанов упоминает в некоторых своих письмах об «Апокалипсисе нашего времени». Это — маленькие сборнички маленьких статей Розанова, общее содержание которых не столько внешне, сколько по внутреннему смыслу сводилось к ощущению Розановым «последних дней». Розанов как бы прозревал в наступившей ЭПОХЕ ТЬМЫ И СКОРБИ то окончательное духовное оскудение, которое неминуемо должно привести человека к концу его ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО бытия. И тогда — «Зверь выйдет из бездны».

Издавались эти сборнички в Сергиевом Посаде объемом в 16 страниц, форматом в «осьмушку», немного больше почтовой открытки, на плохонькой бумаге.

Под секретом и В ТАЙНЕ: мы дошли до такой судьбы, до такой трагедии, что Варя и Надя решили выехать обратно в Петроград, чтобы поступить в случае крайности даже в прислуги... РАДИ БОГА ПРИШЛИТЕ ДЕНЕГ, сколько можно, сколько в силах; поговорите с В. В. Андреевым. ПОЛНОЕ ОТЧАЯНИЕ. Скажите Бурнакину, чтобы вернул мне непременно и без промедления: книги — «Русское народное искусство», издание Кривошеина, и «Церковь Ильи Пророка в Ярославле».

Все это — ДЛЯ ПРОДАЖИ. Мы — гибнем. Уже 2.000 занято, и занять больше негде. Сделайте объявление об «Апокалипсисе нашего времени» и дайте рецензию.

Ради Бога и во что бы то ни стало денег. Картофеля еще много (кадка), капусты 7—8 качнов, луку — ничего. Не пришлете ли круп, грибов сушеных, особенно бы гороху. Можно по почте до 20 фунтов.

Ради Бога — помощи. Ради Бога — спасите. В. РОЗАНОВ.

На отдельном листке (в пакете вместе с рукописями. Оба письма присланы с оказией одновременно):

Вышлите мне сто рублей: терплю горе, заключил контракт на квартиру, 75 рублей без дров, 4 комнаты, — дрова пока на неделю есть, и за месяц уплачено вперед. Но больше не «ма» денег, и что буду делать — не знаю, не понимаю, ума не приложу. Беда. Лютая беда. Ради Бога.

...Посылаю вам статьи. Только я опасюсь, не ЛУЧШЕ ли подписать инициалами В. Р—В. Подпишите лучше так, то есть, все В. Р—В: а то сегодня я прочел об учреждении революционной «охранки», и можно ведь получить БОЛЬШИЕ неприятности. И так: фамилии НЕ ПЕЧАТАЙТЕ. Вы знаете «расправы» наших.

Приписка на полях письма:

Господи, ведь я же талант: неужели мне Бог не даст довести до конца курса детей.

Участь их была ужасна: единственный сын писателя, вскоре после его смерти, погиб под поездом, упав с площадки между колесами. Младшая дочь ушла в монастырь, — судьба двух старших неизвестна, они как-то пропали. И совершенно неизвестно, где архив писателя.

Эти письма, первые из Сергиева Посада, были получены автором этих строк в средних числах февраля 1918 года. Розанов редко датировал свои письма, — для него «канцелярское время» как-то не существовало, во всяком случае он ему не придавал никакого значения. И далеко не всегда подписывал свои письма. О времени их отправки приходилось большею частью судить по почтовым штемпелям.

В ответ на посланные сто рублей Розанов пишет в открытке от 8 марта:

От кого, от кого 100 рублей, предполагалось с нескольких сторон: и вдруг от моего милого С.

На другой день — БАЗАР, и я пошел на сие «соединение Азии и Европы». И вот продукты: 6 фунт. творогу — 12 руб., еще сегодня фунта три осталось; 4 нитки грибов белых. 1 фунт — 12 рублей (в лавках — 14 р.) и две кринки топленого молока (С ПЕНКАМИ) — по 2 р. 25 к. кринка. (Мое упоение, с кофеем.) Вообразите, что я до ПОСАДА даже не знал употребления не кипяченого, а именно ТОПЛЕНОГО молока, с ТОЛСТЫМИ ПЕНКАМИ. Остальное пошло на то и се. Спасибо.

Таковой была бытовая сторона розановской жизни в Сергиевом Посаде.

Базар с осени 1917 года стал занимать центральное место усиленного внимания всех, обреченных на житие в советской России. Именно с этого времени начался кошмарный момент полного материального разорения и полного разгрома культурных ценностей России и всего российского народа.

Русская интеллигенция в самом широком понимании этого слова, от родовитых семей, высококвалифицированных инженеров и профессорских коллегий до самого скромного чиновника, — вдруг ограбленная и разом обнищавшая, прежде всего и прежде всех понесла на базар все свое достояние. Понесла «под секретом и в тайне», под гнетом стыда и крайней нужды, — понесла на шумную грязную площадь, в толпу распоясанных, сытых и пьяных, вчерашних темных

проходимцев, профессиональных ловчил и жуликов, — сегодняшних «господ положения».

Вслед за домашним скарбом и дедовскими сувенирами широкой и разухабисто наглой волною хлынули на базар «товары» из разграбляемых «буржуйских» квартир, особняков, дворцов, музеев и затем церквей...

Так «пролетариат» справлял ликующее торжество своей «диктатуры»...

* * *

На предложение автора этих строк принять участие своим сотрудничеством в предполагаемой к изданию газете — после переезда «Нового Времени» на юг России — Розанов пишет в своем письме от 11 апреля 1918 года:

Вполне принимаю ваши условия, дай Бог только, чтобы издание было вполне СОЛИДНЫМ. Программа его, как вы ее изложили, есть, конечно, — и МОЯ ПРОГРАММА, притом — патетически моя.

Изболелась душа. Душно, душно, душно. Не так страшно, как ОМЕРЗИТЕЛЬНО.

В этих немногих словах Розанов с поразительной полнотой и точностью охарактеризовал «цветочки» развертывающейся революции.

Теперь революция пошла «в лапотках» и «онучах», и, кажется, это все-таки лучше, чем когда она ходила в смазных сапогах: потому что и они, конечно, с самого же начала были предательскими.

Попутно в этом же письме Розанов дает интересную характеристику о. Павла Флоренского, участие которого также было желательно в предполагаемой газете:

С отцом Павлом Флоренским мы самые близкие друзья. Он приходит почти каждый день ко мне, и мы вместе льем слезы о нашей несчастной России, так ужасно заблудившейся и блуждающей... Не воображайте, что он занят лишь церковным вопросом или одною церковною стороною революции. Скорбь его о России так же велика, как и моя. Это Паскаль нашего времени, Паскаль нашей России, который есть, в сущности, НЕГЛАСНЫЙ ВОЖДЬ ВСЕГО МОСКОВСКОГО МОЛОДОГО СЛАВЯНОФИЛЬСТВА и под воздействием которого находятся множество умов и СЕРДЕЦ в Москве и в Посаде, да и в Петербурге. Кроме колоссального образования и начитанности, горит самым высоким энтузиазмом к истине. Знаете, — мне порой

кажется, что он — СВЯТОЙ: до того необыкновенен его дух, до того исключителен.

...Я думаю и УВЕРЕН в тайне души, — он неизмеримо еще выше Паскаля, в сущности, — в уровень греческого Платона с СОВЕРШЕННЫМИ НЕОБЫКНОВЕННОСТЯМИ в умственных открытиях, в умственных комбинациях или, вернее, прозрениях...

Только он еще пессимистичнее моего смотрит на положение России («Россия окончательно уже никогда НЕ ОПРАВИТСЯ») и ждет того же и в Европе, только по совершенно другим мотивам, чем эти дурачье социалисты...

Я буду писать: передовые статьи, без подписи, как от редакции. Я таковые писал и в «Новом Времени» 20 лет. Они требуют одного слога, очень объективного. Другие — личные, патетические, за подписью: «В. Розанов».

Сейчас сяду за передовую в Пасхальный номер, и вы ее получите, вероятно, завтра по личному вашему адресу.

Флоренскому и мне должна быть адресована газета.

Дай Господи ей успеха. О, какая эта надежда России!

Эта передовая приводится ниже, после его статьи «Рассыпавшиеся Чичиковы», присланной для первых номеров той же газеты, которой, однако, так и не суждено было выйти в свет из-за последовавшего вскоре полного разгрома всей периодической русской печати и закрытия всех русских издательств и типографий.

Рассыпавшиеся Чичиковы

В 14 лет «Государственная» Дума промотала все, что КНЯЗЬЯ КИЕВСКИЕ, ЦАРИ МОСКОВСКИЕ и ИМПЕРАТОРЫ ПЕТЕРБУРГСКИЕ, а также СОСЛУЖИВЦЫ ИХ ДОБЛЕСТНЫЕ накапливали и скопили в тысячу лет.

Ах, так вот где закопаны были «МЕРТВЫЕ ДУШИ» Гоголя... А их все искали вовсе не там... Искали «вокруг», а вокруг были Пушкин, Лермонтов, Жуковский, два Филарета, Московский и Киевский...

Зрелище Руси окончено. — «Пора надевать шубы и возвращаться домой».

Но когда публика оглянулась, то и вешалки оказались пусты. А когда вернулись «домой», то дома оказались сожженными, а имущество разграбленным.

Россия пуста.

Боже, Россия пуста!

Продали, продали, продали. Государственная Дума продала нарядность, продала веру, продала земли, продала работу. Продала, как бы Россия была ее крепостною рабою. Она вообще продала все, что у нее торговали и покупали. И что поразительно, она нисколько не считает себя виновною и «кающегося дворянина» в ней нет. Она и до сих пор считает себя правою и вполне невинною.

Единственный в мире парламент.

Как эти Чичиковы ездили тогда в Лондон. Да и вообще они много ездили и много говорили. «Нашей паве хочется везде показаться». И... «как нас принимали!».

Оказались правы одни славянофилы.

Один Катков.

Один Конст. Леонтьев.

Поразительно, что во все время революции ЭТИ ТЕЧЕНИЯ (славянофильско-катковское) нашей умственной жизни не были даже вспомнены. Как будто их никогда даже не существовало. Социалисты и инородцы единственно действовали.

— А что же русские?

Досыпали «сон Обломова», сидели «на дне» Максима Горького и, кажется, еще в «яме» Куприна... Мечтая о «золотой рыбке» будущности и исторического величия.

В. Розанов

Эта коротенькая статья настолько выразительна по яркости своей мысли, настолько остра в своих выражениях, настолько горька по своей тайной печали, — наконец, настолько жизненна во времени, что беглые комментарии к ней как-то неудобны.

На тему этой статьи, этого выразительного конспекта целой исторической монографии о мертвых душах российских времен Государственной Думы можно написать и, Бог даст, будет написана большая интересная книга...

И о Розанове.

И о роли Государственной Думы.

И о трагедии РУССКОЙ мысли, изнывающей от боли и гнева...

* * *

Вопроса о Государственной Думе Розанов касается попутно еще раз более спокойно и объективно (относительно объективно, потому что Розанов «по нутру» своему врожденный «субъективист») во второй «передовой статье в номер к Пасхе» под заглавием — «С ПЕЧАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ».

В этой статье он дает ряд наглядных иллюстраций, характеризующих пусть субъективно, но вполне честно, глубоко и правдиво печальную роль в революции народа нашего и главным образом «заезжих людей и туземных господ», на долю которых падает поистине девять десятых активного бунта против «родной истории».

С печальным праздником

Утописты-мечтатели, понятия не имеющие и никогда не имевшие о русском народе, вообразили, что за одно послушание золотых речей их народ этот отдаст и красное яичко в Христово Воскресение.

и братское целование при встрече друг с другом, — даже отдаленно знающих один другого людей, — и всю великую обрядность и наряд церковный и народный.

Народ послушался было их на несколько месяцев, но уже теперь испытывает в тяжелых вздыханиях, что значит променять родную историю, скованную в груди этого самого народа, на клубную болтовню разных заезжих людей и туземных господ, подражавших этим заезжим людям.

Прошло всего 14 месяцев, и Россия испытала такой погром и разгром самое себя, перед которым бледнеют все бедствия, вынесенные нами в нашей многотрудной и терпеливой истории.

Воистину, нет сил больше терпеть и переносить. Ни татарское жестокое нашествие, ни вхождение в Россию Наполеона, ни Крым и Севастополь, ни половцы и печенеги не вносили в Россию и малой доли того крушения сил ее, какое внесли эти всего 14 месяцев. Буквально, мы стоим как бы при начале русской истории, буквально — русская история как бы еще и не начиналась. Приходится опять заводить все сначала, приходится тысячелетнего старца сажать за азбуку, как младенца, и выучивать первым складам политической азбуки.

Ни о каком красном звоне, ни о каком ВОСКРЕСНОМ событии не может идти речи в теперешнем населении России, которое забыло свою историю и веру, им же самим, этим населением, возвращенную, — им же самим, этим населением, возделанную.

Виноградарь сам вырвал лозу, им когда-то посаженную, и пахарь затоптал поле, им вспаханное. Все это под трезвон разглагольствований, в котором была бездна злобы и не было никакого смысла. Кому-то понадобилось возбудить эту злобу, — кому-то понадобилось затемнить этот смысл.

Понадобилось призвать русских людей друг на друга, возбудить сословную или так называемую «классовую рознь», хотя с чужого голоса русские люди впервые выучились или, вернее, начали выучиваться произносить слово «класс». Как будто князья русские не на тех же ворогов вели Русь, на которых шли и простые ратники, вчерашние хлеборобы; как будто вообще «езда» не состоит из ямщика, коней и саней...

Но кому-то понадобилось распрячь русские сани, и кто-то устремил коня на ямщика, с криком — «Затопчи его!», ямщика на лошадь, со словами — «Захлещи ее!», и поставил в сарай сани, сделав невозможной «езду».

Кому-то понадобилось приостановить русское движение, кто-то явно испугался его и начал нашептывать ядовитые шепоты о классовой розни. Кто-то давно начал мутить и возмущать Русь. Не «классовые интересы» занимали этого врага Руси. Ему нужно было ослабить всю Русь.

И вот Русь повалилась и развалилась, как глина в мокрую погоду.

Еще вернее будет сравнение, если мы скажем, что она развалилась под идущим железнодорожным поездом.

Со временем история разберет и укажет здесь виновных. Хотя и теперь уже очевидно, что в Государственной Думе четырех созывов не было с самого же начала ровно ничего ГОСУДАРСТВЕННОГО; у ней не было самой заботы о Государственном и Государевом деле, и она только, как кокотка, придумывала себе разные названия или прозвища, вроде «Думы народного гнева» и тому подобное. Никогда, ни разу в Думе не проявлялось ни единства, ни творчества, ни одушевления. Она всегда была бесталанною и безгосударственною Думою.

Сам высокий титул: «Думы» — к ней вовсе не шел и ею вовсе не оправдался. Ибо в ней было что угодно другое — кроме «думанья». Образование так называемого «прогрессивного блока» в ней было крушение последних ГОСУДАРСТВЕННЫХ надежд на нее.

Все партии соединились, даже и националисты, даже и правые, чтобы ОБЕЗГОСУДАРИТЬ Россию, сделать из нее толчею так называемых «общественных элементов» или общественных сил, не руководимых более одною государственною силою и национальным интересом.

Завершающая формула этого общественного движения, выраженная в требовании «ответственного перед Думою правительства», была особенно интересна ввиду того, что сама Дума обозначалась с тенденцией или с возможностью предать всю Россию врагу, с которым эта Россия находилась «в состоянии войны». Большого абсурда, большей нелепости, кажется, не встречается во всемирной истории и в игре политических сил и страстей.

Последствием было то, чему мы были свидетелями эти 14 месяцев.

Россия обезгосударилась, но и вышло кое-что непредвиденное: она перестала кому бы то ни было и чему бы то ни было повиноваться. Она начала просто распадаться, деформироваться, переходить в состояние первобытности и дикости. Так называемой «русской культуры», от имени которой было предъявлено столько требований, — как не бывало. Зовущий к ответу перед собою остался сам без имени и без лица.

Россию нужно строить сначала, моля Бога об одном, чтобы это была летаргия, а не смерть.

Так-то мы встречаем праздничек Христов. И колокол зазвучал сегодня в двенадцать часов ночи так печально, с такими дрожащими в себе звуками, как он не звучал ни однажды в тысячу пятьдесят шесть лет изжитой нашим народом истории. Самое страшное из всего, что это оказался и не «народ», а какие-то «люди».

— Чьи это люди? — спрашивают иностранцы и отвечают насмешливо:

— Мы не знаем.

Вот поистине состояние, не известное еще в географии.

В. Розанов

С момента написания этой статьи прошло пятьдесят лет, но свежесть набросанной картины — «зарисовки с натуры» сохранилась полностью. Эта свежесть тем ценна, что она овечна и живет мысля-

ми гениального провидца, сразу понявшего и целиком воспринявшего всю ширь и всю глубину развершейся бездны.

14 месяцев российской революции — срок, который может дать рядовому уму лишь внешние впечатления, омраченные ужасом текущей реальности. Пусть читатель внимательно вчитается в каждый абзац этой розановской, до сих пор нигде не опубликованной статьи, чтобы представить, как всеохватывающе воспринял Розанов эту грозу и как он на большие десятки лет смотрел и видел вперед, — настолько отчетливо и полно видел, что для него не было никакого сомнения в основном — «РОССИЮ НУЖНО СТРОИТЬ СНАЧАЛА».

И не случайно Розанов в страхе писал: «Лишь бы это была летаргия, а не смерти!». До того ясно провидел он неизбежность свирепой расправы над Россией и над русским народом «заезжих людей» с их страстным и открыто демонстративным стремлением не только обезгосударить, но и обезличить и обезволить русский народ, сведя его к состоянию «не известному еще в географии».

* * *

Издательство журнала «Вешние Воды» раз в году, осенью, выпускало специальный популярный литературно-художественный СБОРНИК для широких студенческих масс, — по очень дешевой цене. В этих сборниках помещались произведения главным образом молодых русских студентов и курсисток — статьи, рассказы, рисунки, стихотворения, критические заметки.

Но наряду с этими «пробами пера» печатались и «вещи стариков». Среди постоянных участников этих сборников были: В. В. Розанов, проф. П. И. Ковалевский, В. В. Андреев, В. П. Буренин и др. Розанов обычно писал ПЕРЕДОВЫЕ к этим сборникам — без заглавия.

Рукопись одной из таких ПЕРЕДОВЫХ сохранилась у автора этих строк.

Вот она, — текстуально.

Что ценно в юности? Свежесть, непосредственность, правда. Что всего легче для юности? Свежесть, непосредственность, правда. Она, естественно, не может быть мудрой, ученою, опытною, дальнозорскою, предусмотрительною. Все это для нее «трудно».

Отчего же самое легкое и самое нужное не встречается давно? А оно не встречается или встречается редко.

Печать и общество давно стали «ИГРАТЬ на юность»... Стали играть на ее лучшие и вместе единственные дары, поистине на «райское дерево» в юности.

«Идите К НАМ...»

«Если вы не пойдете К НАМ, — вы отвратительны».



«Только С НАМИ вместе, в единении, вы останетесь честными, чистыми, героическими...»

Не будем разбирать, куда звали юношество, и вообще оставим совершенно в стороне программу... Дело скучное и неинтересное.

Но дело — в ЗОВЕ, МЕТОДАХ его... Каждый ЗОВ ПРЕДЛАГАЛ выбрать юноше, девушке нечто такое, что было построено разными мудрыми или немудрыми головами, а во всяком случае НЕ ВЫРОСЛО ИЗ НИХ САМИХ. И всякий решительно зов включал молчаливую мысль: «Сами по себе вы не ценны, вы ценны только ОКОЛО НАС, как наши помощники». — «ОТРЕШИТЕСЬ от себя...»

Между тем «свежий румянец юности» нужен был часто только полинявшим программам и полинялым старцам, дабы расцветиться перед публикой красками, каких своя душа и свое тело не дают...

Поддурманиваться молодостью кому не хочется... И вот куда пошла физиологическая, возрастная юность. Так кокетки европейских столиц, не всегда молодые кокетки, одеваются в перья африканских, австралийских, бразильских, индийских птиц... И столько таких пташек идет на убой, чтобы поношенная красotka двуногих не выглядела такой увядшей.

Гибель молодежи в ее свежести, непосредственности и правде, в ее свободном, независимом «я», — есть одно из величайших несчастий России, коему возраста — вот уже на моей памяти сорок лет. А всего возраста, — я думаю, 50—60 лет.

Начинается сладкой кормежкой и кончается раннею хилостью. Так, в другой совсем сфере, для других целей, — бывает, подстерегают отрочество около гимназий отвратительные старики и старухи и также дают конфеты, заводят ласковые разговоры, дают обещания... и уводят в ОМУТ.

Об этом-то вечная БОЛЬ. И если настоящий «Сборник» даст несколько свежего своего румянца молодежи, если хоть несколько юношам он скажет, с другой стороны, О ЧЕМ в молодежи болят старшие, — он достигнет своей цели...

В. Розанов

Пусть сдержанно и терпеливо, но как ярко и наглядно изложил свою мысль Розанов об улавливании русской молодежи и об ее разложении — духовном и политическом, чтобы через Омут погнать ее НА УБОЙ.

Этот свой анализ в этой маленькой передовой к сборнику Розанов преподносит в исключительно сжатой форме и в исключительно глубоком раскрытии зова к русской молодежи ОТРЕШИТЬСЯ ОТ СЕБЯ, отказаться и от СВОЕЙ мысли, и от СВОЕЙ воли, — зова, чтобы пойти вот за этими «разными мудрыми или немудрыми головами» и творить ИХ волю по ИХ мысли... И этим задушить тысячелетнюю историю России в кольцах красного удава.

Уже тогда, за два года до революции 17-го года, Розанов в этом зове, возраст которого он исчисляет в 50—60 лет, видел «одно из ве-

личайших несчастий России». Тогда как зовущие мнили себя «лучшими людьми», «цветом российской интеллигенции», учителями и сеятелями «доброго, вечного». Это в теории, — это гремело по просторам России красиво и увлекательно, а по результатам своей «просветительной» практики «учителя» и «сеятели» оказались ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ БОЛВАНАМИ, погубившими и себя, и молодежь, и страну, и все достояние блестящей Империи...

Но мало кто в те дни думал о СОХРАНЕНИИ русской молодежи в ее свежести и в правде... — а тот, кто думал, страдал от вечной боли. Этой болью Розанов страдал тяжело, и потому он так отзывчиво шел на всякое проявление русской молодежью СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ РУССКОЙ МЫСЛИ, сумевшей устоять от напора на русскую юность соблазнительной «сладкой кормежки».

В своем отделе «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества» Розанов не однажды в примечаниях к письмам возвращался к теме об уходе русской молодежи «от Церкви и Родины» и буквально пророчески подчеркивал и указывал на тот ОБРЫВ, к которому неслись и печать, и общество российские, увлекая за собою «заблудившуюся Русь», в ее поисках «синей птицы».

Трагедия наша заключалась в том, что мы в шумной массе своей не замечали самое главное, — ДИРИЖЕРОВ людей блуждающих и заблудившихся, — дирижеров, по нотам разыгрывающих симфонию убийства России, ее растрепки и гибели...

Несясь к обрыву, мы воображали, что несемся «к свету», к «братству и любви», тогда как на самом деле, — жизнь показала это убедительно, МЫ ПАДАЛИ, захлебываясь в мракобесии «передовых идей», — отравленные ложью...

* * *

У автора этих строк сохранилось 19 писем Розанова за период времени с 1915 по 1918 год включительно.

Опубликовать их все полностью даже теперь еще не представляется возможным, ибо в большинстве из них Розанов касается очень многих известных литературно-общественных деятелей, которые могут быть еще живы и жить в СССР.

Среди этих писем примерно треть чисто деловых, — о рукописях, корректурах, об оттисках некоторых статей и пр. Есть и «патетические». Ниже приводится три из таких «патетических» писем, почти полностью.

Письмо (открытка) по почтовому штемпелю от 24 апреля 1918 года. Из Сергиева Посада

— Дорогой М. М.! Не могу выразить, до чего я счастлив, что Голлербах начал писать обо мне. Нет человека, нет УМА и ДУШИ, кото-

рым бы я так ДОВЕРИЛ СЕБЯ и все свое понимание мира, восприятие мира и жизни. Только Ш. еще лучше бы его понял меня. но Голлербах сродни Ш., хотя и совсем разный, чем он.

Но Голлербах имеет музыку чести, музыку благородства в душе, а Ш. просто только «без памяти любит меня», а так вообще к людям был насмешлив, презрителен и довольно циничен. Он был гений (Голлербахом, по-видимому, не понятый), но с... с... Вообще Ш. был феномен, чудище, гигант и чужак. «По МНЕ брат», признаюсь.

Встретясь с Флоренским, я сказал ему: «Знаете, Павел Александрович, — я нашел своего (неразборчиво написанное слово). Он: «Читал, читал». И даже взял мою любимую Васину книгу — «Литературные изгнанники», чтобы проверить цитаты Голлербаха.

Ну, спасибо ему. Передайте поклон.

Вышел № 5 «Апокалипсиса», и там я вложу еще письмо — вам и Голлербаху. Посылая — вложу письма.

В. Розанов

**Письмо — по почтовому штемпелю от 30 августа 1918 года.
Из Сергиева Посада. На узкой и длинной полосе бумаги
Без обращения**

— Не могу передать всего, что испытываю 2 дня от сделанного мне «Вешними Водами». Спасибо, спасибо друзья! спасибо, юности! Спасибо, милый М. М.!

Никоторая редакция, где я ни писал, не оценила так моего труда, а между тем в «Вешние Воды» я валил то, что оставалось от «стола» других редакций. и мне в голову не приходило, что для «Вешних Вод» это так значительно.

Когда я читал «статью от редакции», где выделены и подчеркнуты, а следовательно, и выставлены к свету, к виду, к ИСТОРИИ разные «примечания» к статье «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества», — я до того был поражен, это до того вообще трогательно, если хотите и вполне нужно сказать — это ДО ТОГО КУЛЬТУРНО (colo, colui, cultum, colere — чту, почитаю, УВАЖАЮ), что встретить это В РОССИИ, где вообще никто ничего не уважает и — никого не уважает, а на всё-всё «плюют» (сущность русского нигилизма), что... прихлынула к сердцу кровь и затрепетала радостью.

Ведь с colo... cultum начал я «Сумерки просвещения», в 1893 году. И вдруг — это чудное озарение, как бы слово юности (конечно, «Сумерек просвещения» не читавшей): «Усни, старик: мы так же думаем; то, о чем ты заботился, — в крепких руках».

Это — совпадение: секрет-то дела «Вешних Вод» заключается, КОНЕЧНО, не в том, чтобы я сколько-нибудь им помог, но... как снежинка к снежинке в студеную зиму, начали приставать студенты и курсистки друг к дружке, лепясь около ИСТОРИИ нашей, разбитой и несчастной; в сущности, — около благородного и чистого своего сердца.

Вот — суть; и никто «неспасенного» не спасет, а люди только «САМОСПАСАЮТСЯ». И хочется мне крикнуть об этом лозунге на всю Русь, на всю юность, да свечка догорает, без подсвечника и одна.

Спасибо, целую Мишу, как доброго сына. Он, он, он. От редактора все зависит, — САМ знаю, и, значит, «без Миши» бы и «Голлербах» ничего не мог, да и Мурахина не прислала бы без зова Миши своих белоснежных слов. Ими, как снежком на могилу, посыпала старушка милая и ЮНАЯ старику, 62-летнему писателю. Как ей «спасибо». Какое чудное понимание — о ЖЕНСТВЕННОСТИ во мне, о том, что нужно «позаботиться» обо мне, — и особенно о ПРОЗРАЧНОСТИ и о полной ЯСНОСТИ моей души: а ведь видела она меня всего 3—4 раза, и мы пили «чай БЕЗ прикуски» и курили тощие папироски. Но ее громадное образование (знает 8 языков и Древнюю историю) и генеалогия из графов Цеппелин. как она говорит, — из чешских графов, ее бешеное «умру за Россию», «Россия — СПАСЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!» — сделало дело. И она обвела мою старую и тоже ЮНУЮ душу, как я не видел ни от кого никогда. Гаснет свеча. В. Р.

**Письмо — по почтовому штемпелю от 18 октября 1918 года.
Из Сергиева Посада
Без обращения**

Безмерно счастлив Голлербахом, Мурахиной, вами (я не знал, что это — ВЫ, то есть ваше «Примечание» ред.).

Я именно СЧАСТЛИВ, а не просто, — рад. Как чудно вообще это вышло, что подошла старушка 55 лет и юноша 27 лет и сказали оба в ОДИН ЧАС, ОДНИМ СЛОВОМ. И сказали не пустые люди, не «кое-кто»: сказала знающая 8 языков Мурахина, перевод коей Сервантеса заслужил одобрение Академии Наук, знаток Египта и Халдеи. А как она СКАЗАЛА! Какая нежность и глубина, какая прелесть самой РЕЧИ, СЛОГА!

Я давно, с месяц назад, написал вам письмо; но за переносом своей библиотеки из нижнего этажа в верхний письмо с характеристикой «мужа и жены» Мурахиных-Аксеновых затерялось, хотя, конечно, я его найду и тогда пришлю. Оба они — трогательны в любви и нежности обхождения. Угадка ее ДУШИ МОЕЙ — это что-то изумительное. Но она именно УГАДАЛА.

.....

Ох, устал. Безумно...

Я вам с месяц назад написал письмо, под впечатлением знакомства с Мурахиными-Аксеновыми. Дед его, купец московский, во время занятия Москвы Наполеоном СЖЕГ ВСЕ ДОМА СВОИ и превратился из богатея в бедняка. И вся порода их таковая. Оба — чистойшей души люди. Живут нищенски на заднем дворе, почти в лачуге. Им, я думаю, необходимо помочь.

Она смотрит лично на вас как на героическую личность. Ваше мужество ПОЛИТИЧЕСКИЙ гораздо лучше, прямее, честнее «Утра России». Но особенно хороша была у вас передовая о лжи кадет, которые все именовали себя «конституционалистами», на самом деле будучи

республиканцами, то есть, в сущности, будучи gentiers — социалистами.

Со ЛЖИ все и началось...

В. Р.

Мурахины трогательно-нежно любят друг друга, обращаются друг с другом, и я в одном журнальце живописал их в статейке: «Идиллия на краю вулкана» (то есть революции). Не говорите им. В. Р.

**Из письма за 1915 год, когда Розанов еще жил в Петербурге,
на Коломенской, 33**

Ведь полагают вообще, что консерваторами могут быть лишь солдафоны, чиновники и формалисты, а — не люди мечты, воображения и таланта. Вот это предубеждение надо разбить.

. * * *

В вышеприведенных письмах Розанова упоминаются Голлербах, Мурахина и о. Павел Флоренский. Все эти лица интересны во многих отношениях, и прежде всего по своей яркой даровитости, — но, будучи по природе своей скромными и по своим умственным и душевным настроениям чуждыми революционному бунтарству и социалистической демагогии, были всегда в тени и до революции, и во время разворачивания ее бесовского шаша. Иначе говоря, эти лица были «не у дел», не «в моде», были «под запретом» у тогдашнего русского общества и у тогдашней русской печати, рвущейся «к свободе», в «мир невыразимо прекрасного будущего», открыто и дружно подготавливавших «Февраль вольной жизни от гнета царизма...»

ГОЛЛЕРБАХ Эрик Федорович, ровесник автору этих строк, даровитый, чуткий и вдумчивый, знаток литературы и живописи, — обрусевший немец, царскосёл, сын булочника, — мечтатель и очень непрактичный человек, — в сущности деловой бездельник. Литератор, критик и шаржист.

Работать в «Вешних Водах» начал рано, с конца 1914 года, давая главным образом критические статьи и свои шаржи, — скупые по линии, но удивительно талантливо, в «кривом зеркале» изображавшие популярных в то время петербургских артистов, художников и литераторов. В переписку и личное знакомство с Розановым вошел в 1916 году через «Вешние Воды» и как-то сразу стал у него «своим человеком». Свою переписку с Розановым, комментарии к розановским письмам и беседы с ним Голлербах летом 1920 года издал в виде небольшого формата, скромно, но изящно представленной книги. В 1924 году работал в Госиздате, заведую художественным

отделом. Автор этих строк связь с Голлербахом поддерживал до своего отъезда из СССР в 1926 году. Что было дальше с ним, как он жил — неизвестно. Известно только, что в 1925 году Голлербах сильно бедствовал, будучи без работы и без всяких средств.

МУРАХИНА-АКСЕНОВА Любовь, москвичка, широко образованная и очень скромная дама, писательница, знаток древних историй, лингвистка. По природе своей «не от мира сего», жила как бы вне времени и пространства, в каких-то далеких мирах и чувствовала себя ТАМ прекрасно, «как у себя дома».

Была постоянной сотрудницей «Вешних Вод» и состояла в тесной переписке с автором этих строк. Ее перу принадлежит множество блестящих рассказов из античного мира и, между прочим, солидный сборник ее повестей и легенд под общим заглавием — «Звезда Коринфа».

Зная языки не только европейские, но и древние, до санскрита включительно, Л. Мурахина великолепно разбиралась в древней истории и в древних историках, — в ПЕРВОИСТОЧНИКАХ. И на основании этих первоисточников по-новому освещала многие исторические моменты, их события и их героев. И очень часто под ее пытливым пером «общепризнанные» исторические факты и зарисовки превращались в легенды, а отброшенные «легенды, суеверия и наветы» превращались в факты.

Вскоре после смерти Розанова и своего мужа Аксенова, летом 1919 года, Л. Мурахина переехала из Сергиева Посада в Петербург и прожила у автора этих строк до осени. В сентябре она сильно простудилась, — слабый организм не выдержал обрушившихся испытаний, и в середине октября 1919 года она умерла на больничной койке, — буквально всеми оставленная и позабытая.

Отец Павел Александрович ФЛОРЕНСКИЙ — профессор Московской Духовной Академии, был одним из первых русских ученых-богословов, разоблачившим ересь учения о св. Софии. Это был глубокий философ, богатый эрудит, ПОНИМАЮЩИЙ Розанова, его сложный мятущийся дух и его верность Христу, и потому любивший его. Капитальный труд о. Павла Флоренского — «Столп и утверждение истины» остался мало кому известным все по той же причине — своей природной скромности и «несозвучности» с наступившей эпохой духовного разложения, беснования политических страстей и помрачения разума. Отец Павел Флоренский был фактическим главою московских славянофилов, но никогда не считал себя их «лидером». Автор этих строк не был лично знаком с о. Павлом, но знает о нем из своих бесед с Розановым.

**Монография Розанова «Об античных монетах». —
«Как и почему пришло на ум собирать древние монеты». —
Осознание монеты историческим взглядом. —
Археология. Нумизматика. История**

В конце 1916 года, совсем незадолго до Февральской революции, Розанов предоставил в распоряжение «Вешних Вод» свою рукопись-монографию — «ОБ АНТИЧНЫХ МОНЕТАХ» с подзаголовком — «КАК И ПОЧЕМУ ПРИШЛО НА УМ СОБИРАТЬ ДРЕВНИЕ МОНЕТЫ».

Предполагалось эту монографию печатать по одному листу (то есть по 16 страниц) в самом конце журнала — с таким расчетом, чтобы потом можно было эти листы вынуть из журнала и переплести их в самостоятельную отдельную книгу. Но революция помешала всему этому, — объем журнала из-за дороговизны пришлось сократить, а печатание монографии отложить. Так она и не была никогда нигде опубликована.

Письма о. Павла Флоренского о нумизматике Розанов не успел передать «Вешним Водам» в Петербурге за кровавым шумом революции и всеобщим смятением. Таким образом, вторую часть монографии придется считать погибшей навсегда.

«Об античных монетах» — это, откровенно говоря, вовсе даже и не монография, и уж вовсе не сочинение. «Для сочинения» нужен «сочинитель», а здесь-то его как раз и нет.

Представьте себе, что в углу широкого низкого дивана-«оттоманки», забравшись на нее с ногами, сидит седенький человек в поношенном пиджаке и со сбившимся галстуком. На коленях у него коробка с табаком и гильзами, и он набивает папиросы. Тут же рядом лежат монеты разные, старинные, медные и серебряные. Некоторые в «Варенькиных мешочках», есть и в старых конвертах, и разложенные аккуратно в плоских ящиках — на фланеле.

И человек этот РАССКАЗЫВАЕТ, а не «читает лекцию», рассказывает НЕ обыкновенным языком, ну, вот как «бабушка рассказывает сказку», не спеша, останавливаясь, иногда улыбаясь и точно что-то вспоминая. И вы... СЛУШАЕТЕ, — ВСЛУШИВАЕТЕСЬ. Вместе с ним ТРОГАЕТЕ монеты, рассматриваете их и ОЩУЩАЕТЕ, «связь устанавливаете». Не столько умом постигаете тему, так ПЕСТРО и ЯРКО излагаемую, а душою, чувствами, и при этом наглядно, картинно, — именно ОСЯЗАТЕЛЬНО.

Рассказчик вводит вас в мир своей мысли, как в какое-то удивительное царство, где для вас все СТРАННО, ново и интересно, и СТРАННО понятно и где для него все реально, — где самая «сухая»,

такая «скучная» и «слишком уж отвлеченная» и «далекая» тема вдруг превращается в живой трепет чего-то не только глубоко интересного, но близкого, простого, даже милого и «конечно, нужного».

Таков Розанов, — таковы все его «сочинения», таковы его «Люди лунного света», «Литературные изгнанники» и многие герои его изумительного пера. Таковы все его монографии, единственные в своем роде, — единственные по широте и глубине понимания темы, по прозорливому ее постижению, по живому ее осязанию и соприкосновению с ней. Тут и история, и религия, и быт, и чувства личные, строго «эгоистические», «свои», — и сетования, и восхищения, и критика «свирепая», — и **магия** с ее грозами и предчувствиями...

Поистине, розановские монографии, вообще «сочинения» — до крайности индивидуальны, оригинальны и своеобразны. Потому и читаются они не как что-то СУХОЕ и СКУЧНОЕ, а как какой-то диковинный рассказ, диковинно рассказанный, — не то какая-то живая сказка, быть, явь в лицах в действии, — вот у вас на глазах развертывающаяся во всей своей пестроте, подвижности, оживленности. И осязательности...

«Сочинение» Розанова «о монетах» является, конечно, единственным в мире по характеру, по стилю своего изложения, — наконец, по пониманию темы. «Конечно» потому, что какое другое исследование по нумизматике можно поставить рядом с этим «сочинением о монетах» Розанова?

И кто из нумизматов когда-либо ставил перед собою и решал вопрос — «Как и почему пришло на ум собирать древние монеты»? А вот Розанову пришло на ум задать себе этот вопрос — по той простой причине, что в древних монетах он ВИДЕЛ историю народа, — видел во всем объеме внутреннее содержание этой истории со всей ее мистикой. И монета в руках Розанова превращалась в ключ, открывавший ему «вход» — через века и тысячелетия в мир ЖИВЫХ теней, с которыми он любил и умел беседовать, вглядываться в них и рассказывать о них.

Второго ТАКОГО нумизмата мы не знаем. Нужно самому видеть Розанова с древней деньгой в руках, чтобы понять, почему он так любил собирать древние монеты, почему он как-то вдруг загорался, держа в руках какой-нибудь римский динарий, или греческую драхму, или афинский статер, и почему, смотря поверх всего и всех, начинал оживленно делиться своими впечатлениями сперва о какой-нибудь «запятой», или «ехидне», или «пухленьких червячках» на монете, а потом об эпохе, событиях, лицах...

Но рассказывал Розанов об эпохе и событиях не как профессор на своих лекциях, за которыми обычно засыпают, а как древний философ, повествующий под тенью платана в знойный день о том, что

МИР НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ и что ЦЕННОСТЬ ПОЗНАНИЯ МИРА В ВЕКАХ — В ЕГО ОСЯЗАНИИ...

ОБ АНТИЧНЫХ МОНЕТАХ

Вместе с Павлом Александровичем Флоренским мы — заядлые любовники монет. В письмах мы то любимся, то ссоримся, спорим о земле и о небе; но когда глаза наши устремлены по одной оси и перед нами лежит греческая монета, то мы только потрагиваем за руку друг друга и уже не можем ничего говорить. Мир умолкнул, толпы нет: на нас глянула жизнь из-за двух тысяч лет, и, замороженные ею, мы ничего не видим и не слышим в «юдоли здешней», идеже бысть «скрежет зубовный и окаянство».

Давно нам хотелось обоим соединить в одной статье мысли свои, занятия свои, а я мечтал всегда — и сердца. И вот пусть под «кое-чем» из нумизматики, приводящей в забвение ум, как некогда игра Орфея в Аиде (если я не перевираю мифологию) наводила тоже экстаз и беспамятство, — пусть это наше давнишнее желание будет исполнено.

Буду чередовать отрывки его и свои, почти не приводя их в порядок: по бессилию, по старости.

Вот давно написанный отрывок, которым я думал доброхотного читателя «звести в интерес собирания древних монет». Для этого я почел за лучшее и простейшее — отчего и как начал сам собирать их.

Как и почему пришло на ум собирать древние монеты

Собирание мною древних монет имеет, как ни странно сказать, — определенное историческое начало и почти мифическое рождение.

А. В. Орешников, ныне знаменитый нумизмат, — увы, по русской нумизматике, — в молодости купил значительное количество греческих и римских монет, — или числом 900 за 1000 рублей или тысячу монет за 900 рублей. Две эти цифры я удержал в памяти, забыв, которая к чему относится. Это, без сомнения, те монеты, которые он упоминает в своем «Описании греческих монет Московского университета» как принесенные в дар этой *almae matri*, из скромности назвав их «небольшим количеством».

На самом деле и количество и качество их было значительно. Показывая товарищу своему по учению, А. К. Белкину, и мне это собрание, он отделил из него одну монету (дуплет), бронзовую Септимия Севера с изображением на оборотной стороне императора на коне, которого ведет за повод нагой человек.

Было это в 1880 году. Монету я постоянно носил при себе в течение странствующей жизни учителя; и, по временам вынимая ее, любовался. Глаз мой заметил, а душа была удивлена необыкновенною натуральностью — художеством изображения. Будь монета сделана в наше время, — ведение лошади всадника было бы изображено через фигуру ПЕРЕД НЕЮ ИДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ДЕР-

ЖИТ ПОВОД. Понурый слуга или чиновник, в приличной случаю или положению одежде, шагает впереди лошади. — шагает впереди: и только! Здесь поводарь взят вполоборота: нога его, которую вот-вот он перенесет в новый шаг, уже отделена пяткою от земли, когда передняя нога стоит на земле всюю ступнею. На монете видна ступня задней ноги в сгибе; прелестно выделяется ее пятка! И сам он, ведущий не «лошадь», а поистине **КОНЯ**, — полуобернулся на императора: каждый знает, до чего красива и выразительна фигура человека в этом полубороте!

«Так не умеют теперь делать!» — думывал я не раз.

Потом догадался о худшем, об обломовском:

— Так **НЕ ХОТЯТ** делать! Ну, зачем представлять человека «идушим», когда можно представить его просто «растопырившим ноги», что, конечно, «сойдет» для казенного ведомства, заказавшего резчику монету... И «оборачивающегося»: это просто даже и не пришло резчику в голову, да и не было бы ему позволено: «Зачем оборачиваться?!» Нечто дерзкое в отношении императора, не церемонное, не служебное...

Э, нищие! Нищие, дохлые и клячи...

Так говорил я, пряча монету обратно в карман.

Под **ADVENTUS AUG** стояло волшебное **SC** — **Senatus Consulutu**, как я уже знал из объяснения Орешникова. Маленькое объяснение нашей исторической дохлятины. Но **SC** было совершенно стерто: и только, лизнув монету и отведя ее в сторону, поворачивая так и этак, можно было видеть эти две буквы, говорившие о Риме больше, чем Кюннер.

Волшебный рай...

и прочее, как вздыхали наши поэты.

Монету эту я носил про себя и для себя, эгоистически. Но изредка показывал ее ученикам Брянской, Елецкой и Бельской гимназий, — приблизительно с теми комментариями, какие написал сейчас. Ученики так же, как я, восхищались живостью и натуральностью изображения. Я убежден, что горсть римских республиканских динариев, данных классу для рассматривания, сказала бы им больше о Древнем мире, чем мертвые рисуночки, продукт **НАШЕЙ ТЕХНИКИ**, приложенные к их 75-копечным учебникам. Но наш «классик» Д. А. Толстой едва ли знал, что в Риме были «динарии»; и через это последнее избавились от унижения — «нести службу» в его ведомстве...

Бог с ним...

Который-то ученик в Бельской прогимназии, в ответ на показанную классу монету Септимия Севера, — принес в класс и подарил мне взятую «от мамы» неизвестную монету. Сейчас же я определил, что это была арабская монета. Она вышла очень удачная: лет 12 спустя А. К. Марков определил ее как диргем (?) Гаруна аль-Рашида, отчеканенный в городке, коего не значилось в эрмитажном собрании. Я просил его принять ее в дар, — и ныне эта монета бельского гим-

назиста будет вечно сохраняться в шкафах Эрмитажа, до окончания русского царства. Такового окончания, станем надеяться, не будет.

Затем во внутренних городах России я никогда не видел ни одной древней монеты; а в библиотеках гимназий не видал никогда ни одного сочинения по нумизматике. Россия была ГЛУХА, абсолютно глуха к миру древних монет; и отношение ее к ним можно бы выразить вопросом спросонья:

— А разве они есть?

Как я не смеюсь и не шутя говорю, что Толстой, вероятно, предполагал, что в Риме расплачивались «рублями» и «копейками», — при этом не полновесными, «нашими», — так точно вообще нельзя было встретить в России человека, имевшего бы какое-нибудь представление о нумизматике. Только знакомясь с сочинениями Владимира Соловьева, я где-то прочел у него в публицистике:

«...Бывают всякие науки, в том числе и смехотворные: есть, например, наука — НУМИЗМАТИКА, или еще преподается в училищах государственного коннозаводства наука о копыте кавалерийской лошади...»

И пошел, и пошел наш остроумец: во фразировке этой мысли я могу ошибиться; но не ошибаюсь в том, что меня поразило. — в сравнении НУМИЗМАТИКИ с отделом конюшенного ведомства. Только когда в кабинете А. К. Маркова я увидел на стенах портреты — как наших «Пушкина и Гоголя» — знаменитых нумизматов — вероятно, де Сольси, Бабелона и других, я измерил все самоуверенное невежество Соловьева.

В первый раз русского, «поверившего в нумизматику», я встретил в Кисловодске. Это был персиянин-часовщик, лет за тридцать. Худенький, черный. Торговал в лачуге-лавчонке против «галерей». На столике у него я увидал несколько серебряных монеток и, обомлев, прочитал на одной:

FAUSTINA AUGUSTA

А на другой:

IMP. C. VESPASIANUS...

— Боже мой! Боже мой! Фаустина, жена Марка Аврелия, философа, — моего любимого, нашего русского любимого! Неужели это подлинная?! Но такой вид, как будто подлинная.

И Веспасиан, разрушивший Иерусалим! Неужели от тех пор? И надписи ясны, монеты совершенно сохранились, не как моя Септимия Севера, почти стершаяся, некрасивая. Как красива Фаустина: сколько достоинства и гордости в лице. Римская женщина, подлинная римская женщина, вот из тех, о ком пишет Кудрявцев в «Римских женщинах». А это... почти, увы, стертая — Августа: сзади что-то непонятное: два кружка, две палочки и около них пухлые червячки. А это Николай Чудотворец... почему она попала в ДРЕВНИЕ монеты? А как сохранилась!

На лицевой стороне прекрасной серебряной монеты было иконное изображение св. Николая, в архиерейской митре, — с чертами

строгими и суровыми, как всегда и пишут этого святого, давшего пощечину Арию...

— Хорошо. За римские я даю по три рубля; Августа — стерта почти, но Бог с вами — даю и за нее три рубля. Но это — дешевле? — указал я на Николая Чудотворца.

Персиянин посмотрел на меня злобно и гневно:

— Аршок! Тысяча лет! Больше тысячи лет!

Он выкрикивал прямолинейные предложения, очевидно не владея языком.

Продолжая совершенно недоумевать, как «св. Николай Чудотворец» попал на монету, — и следовательно, что это за монета, — я дал и за нее три рубля. Что было изображено и написано на обороте — я совершенно не понимал. Не мог уловить...

Это был Сапатрок, — парфянский царь. Древность — более 2000 лет. Портрет его действительно до удивительности совпадает, — но только в профиль, — с Николаем Чудотворцем. Шапкообразная, украшенная жемчугом тиара парфянских царей, — дает полную иллюзию архиерейской митры.

Чтобы кончить о «мифическом периоде» собирания мною монет — передам еще о нумизмате, торговавшем на Гороховой улице (в СПб.). Увидя на окне его лавочки среди старых русских и несколько римских монет, я вошел в нее. Было узко, тесно и не очень светло. За прилавком сидел в тулупе бледный, сморщенный старик, — или молодой, похожий на старика. Это был несчастный скопец («скопцы-менялы»). На мой вопрос он распорядился «подручному» подать мне, что требовалось (с окна дощечку с монетами).

Я копался. Обтирал. Не решался. Ничего не было интересного.

Скопец сидел неподвижно. «Подручный» его был тоже скопец.

После выбора, — или нерешительности, — он спросил «подручного», желая знать, какие я выбрал монеты.

Тот, не понимая выбора, был в затруднении, как ответить. Дело в том, что среди монет были и татарские, как известно, — с надписями и без изображений. Тут-то и сказалось «первое нумизматическое сведение», какое я услышал от природного русского: ибо на Кавказе со мной говорил перс.

— Какие они отобрали? — спросил он про меня.

Молчание. Он пояснил:

— Если с головами — значит, РИМСКИЕ.

«С головами...» В самом деле, мусульманские — «безголовые». Первое большое деление нумизматики...

* * *

В 1899 году П. П. Перцов, известный писатель, — много путешествовавший по Италии, — вернувшись из родного «гнезда» в Казани, зная мою страсть к древним монетам, подарил мне горсть драхм и 1 афинский статер. Отнеся их в Эрмитаж, — я показал их доброму хранителю последнего, А. К. Маркову, — преподавателю нумизматики в Археологическом институте. И как «профессору» всякому бы

студенту, — он мне назвал города и страны — Синион, Аргос, Фессалию, Ахейский союз городов, Афины, Флиус и проч., где чеканились монеты.

— Подлинные? — спрашивал я испуганным голосом.

— Никакого нет сомнения, — ответил он мне равнодушно.

Такое равнодушие!

— Но какого же века? времени?

— Афинский статер не позднее V века...

— Времени Перикла?!!! — я не смел верить ушам.

— Да. И Пелопонесской войны.

Так же равнодушно и спокойно.

— Эти же позднее, четвертого и третьего века.

И ушел в исторические и мифологические объяснения.

— Синион...

— Но почему вы знаете, что эта монета — «Синион»?

— А маленькое Е под Химерой.

— Какой «Химерой»? Это — лев?..

— Лев, коза и змея, — вместе соединенные: видите, змейка поднимается над спиной льва.

Действительно — «змейка»: почему же я раньше не видел?? И Е: но почему он знает, что Е значит: «Синион»? Почему он знает Флиус?

— А протома быка.

— Какая «протома»?

— Передняя половина быка, — ответил он нетерпеливо. И Ф, и четыре точки. Это — монета Флиуса, в Пелопонесе.

«Боже мой! Боже мой! Почему же этого нет у Иловайского, — когда это так интересно и ново».

Полная и большая фигура Маркова была невозмутима. Он охотно объяснял. Но уж очень спокойно. Нисколько не волновался: и хотя с интересом пересмотрел в лупу все мои монеты, но нисколько не был ими изумлен, ни восхищен. Между тем он видел Химеру, — сделанную людьми, **ВЕРИВШИМИ В ХИМЕРУ!!**

Только через год и вообще «со всем ознакомившись», я не мог не догадаться, что единственное отношение, какое он мог чувствовать к моим «все новым и новым сокровищам», — было ощущение скуки и что я его отрываю от занятий. Но — неистовимо терпеливый — он не показывал и виду.

— Но где все это прочитать?

— Есть атлас Цыбульского, изданный Вольфом.

Купил. За 4 рубля. Но это — сделанная «во вкусе Толстого» возмутительная по невежеству мазня царскосельского учителя гимназии. Смешное в «объяснениях» составляло то, что он, при указаниях на монеты, все делает ссылки: «Хранится в Британском музее», «Находится в Берлинском мюнц-кабинете». Тогда как все это, то есть эти монеты, хранятся в Эрмитаже, в Петербурге: но ему из Царского Села лень было дотащиться до Эрмитажа, и он «содрал» **ИЗОБРАЖЕНИЯ**

из печатных изданий иностранных музеев, никогда и в глаза не выдав подлинных монет, ни — Лондона, ни — Берлина!

— Да, этот «иностранец из Лондона и Парижа» всего только шьет скверные пальто на Гороховой. Но что же сделали русские? Например, Марков?

Я не мог внутренне не упрекнуть его. Он подарил мне тогда свои изящные: *Les monnaies des rois parthes. Supplement a l'ouvrage de M. le comte Prokesche-Osten. Par Alexis de Markoff. Paris. 1877.*

Две квадратной формы тетради-книги, с превосходно выполненными изображениями монет. Тут-то я рассмотрел и своего «Николая Чудотворца»... Вся книга полна изящества (изложения) ума и необозримой учености.

— Но отчего бы это написали по-французски? — спросил я его раз с полуупреком.

— Потому что это французам нужно, — ответил он равнодушно.

«А русским...» — подумал я.

— А русским? — спросил я вслух.

— Ну, пять-шесть человек. Разве для 5—6 читателей можно издавать книгу?

Позднее, занимаясь по «Каталогу греческих монет Британского музея», — я увидел в подстрочных примечаниях ссылки на этот труд Маркова. И передал ему:

— Да. Вскоре по появлении на французском языке, кто-то перевел ее и на английский. И англичане пользуются.

Все так же равнодушно. «А на русский» — никто не перевел. Ни одному студенту не пришлось этого в голову.

— Ну... Верно, социал-демократией занимаются. Что русскому студенту до парфян.

— Хоть бы вы своих слушателей в Археологическом институте заставили!

Он повел плечами. Я опять сетовал.

— Но как же я их «заставлю», если они ничего в НАУКЕ НУМИЗМАТИКЕ не понимают. Они напутают и испортят.

Я вспомнил Соловьева (Влад.) и Цыбульского.

* * *

Все делается постепенно.

И я узнал, что уже не такое полное отсутствие нумизматов в русской земле: как тихие тени, они прилетают в Эрмитаж, в его полусветлые залы, и, пробираясь по высокой лесенке «наверх», в «святилище науки», — около старожиллов Эрмитажа, А. К. Маркова и О. Ф. Ретовского, определяют монеты, составляют их описания, делают сургучные слепки (особого состава мягкий сургуч) с интересных эрмитажных экземпляров, и, словом, «входят в подробности». Это слова незабвенного Х. Х. Гиля, как-то мне сказанные:

— Всякая вещь становится интересна из своих подробностей. Так и нумизматика: пока вы не начали ее ИЗУЧАТЬ, то есть с лупою в ру-

ках не начали знакомиться с ПОДРОБНОСТЯМИ каждой монеты, все они и ВСЯ НУМИЗМАТИКА кажутся неинтересными.

Истинно. Как и то, что. «взяв лупу» и раскрыв книги, — уже не расстанешься с нумизматикой.

Позднее я узнал превосходный, — ПО ТОЧНОСТИ И НЕОБОЗРИМЫМ ПОДРОБНОСТЯМ, — труд Бутковского-Глинки.

«Petit Mionnet de poche ou repertoire pratique a l'usage des numismatistes en voyage et collectionneurs des monnaies grecques, avec indication de leurs prix actuels et de leurs degre de rarete par Alexandre Boutkowski-Glinka. Berlin. 1889»¹.

Это в своем роде «Бедекер» нумизматики: старательность, с которой составлена эта книга (увы, — начало только труда, не конченного за смертью автора), введение автором множества монет, оставшихся неизвестными знаменитому Mionnet, — точность, пунктуальность, научность — все делает труд этот именно «Бедекером», незаменимым «спутником» собирателя древних монет!

Ах, — если бы труд этот был написан по-русски: давно бы он уже толкнул русских к занятию этою интереснейшею стороною классического мира! Как он написал в другом своем труде:

«Нумизматика или история монет древних, средних и новых веков. Составил А. П. Бутковский. Москва, 1861».

В этом-то труде он и выразился (с. 2):

«...Масса античных монет представляет собою как бы одно металлическое зеркало, в котором отразился весь древний мир с его произведениями и постепенным развитием искусства».

Это — самое лучшее определение нумизматики, какое я знаю и какое можно представить себе: определение художественное, открывающее самую сердцевину ее, причину ее интереса, занимательности, нужности. И далее Бутковский продолжает — изъясняет:

«Присущие гражданскому обществу, в разных его состояниях, древние монеты разъясняют нам: жизнь городов, законы, бесчисленные учреждения, войны, завоевания, заключения мира, перемены правлений, торговлю, колонии и народные союзы; увековечивают собою пересекшиеся роды и фамилии и сохраняют в живом воспоминании личности великих людей» (там же).

Это открывает значение нумизматики как самостоятельной, САМОЦЕННОЙ науки, — а не как «пособия» только, не как ВЕТВИ археологии... Отсюда-то, из САМОЦЕННОСТИ нумизматики, и проистекает тот неистощимый энтузиазм, какой владеет всеми нумизматами, к своему предмету: они вовсе не зачитываются трудами ПО ИСТОРИИ Моммзена, Курциуса, Грота; жар их собственно КАК К КНИГЕ, как К ЧТЕНИЮ или не велик, или очень велик. Они рассматривают и



¹ Маленький карманный Мьонне, или Практический каталог для путешествующих нумизматов и коллекционеров греческих монет с указанием их действительной стоимости и степени их редкости, составленный Александром Бутковским-Глинкой. Берлин, 1889 (фр.).

рассматривают... Что же они рассматривают? Да «металлическое зеркало, отражающее весь древний мир»: СЕЙЧАС отражающее, ПЕРЕД ГЛАЗОМ нумизмата, как бы этот мир еще жил, волновался, никогда не умирал!

«НИКОГДА НЕ УМИРАЛ» мир, на самом деле давно ушедший в могилу.

Вот сердце нумизматики.

Понятно «рассматривание» нумизматом предметов своей науки. Оно подобно очарованию и волшебству: с лупою в руке, «на верху» Эрмитажа, Ретовский или Марков, держа в руках золотой статер (не-разборчиво), с головою Пана, — и львом, держащим в пасти конец сломанного дротика (сцена древней охоты), — вовсе забывают, что они «русские», что они «служащие в Эрмитаже», что они «получают жалованье», что они «носят мундир»; но, как писал Лермонтов:

...погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда...

— откуда вот взяли эту монету: про Пантикапею, Ольвию, про... весь, весь древний мир.

НИКТО НЕ ИМЕЕТ ТАКОГО ОСЯЗАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДРЕВНЕМУ МИРУ, КАК НУМИЗМАТЫ: вот источник их энтузиазма, рвения, — и необозримых, изумительных трудов, какие они написали!!!

Нумизматика, — само по себе, ОДНА, количественно обширнее, книгами и сочинениями богаче, нежели все отделы древней истории в совокупности!!

Конечно, — это вполне самостоятельная наука... Даже бедно сказать — «наука»: нумизматика переступает обычные определения «науки» как некоего ЗНАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, как некоего ОТКРЫВАНИЯ нового. Ибо она, содержа в себе труднейшие знания совершенно точного характера, относящиеся к палеографии, истории и проч., и проч., есть именно...

— ОСЯЗАНИЕ древнего мира и всего, что отсюда проистекает.

Журналы нумизматические, — и статьи, в них помещаемые, как и необозримые томы, посвященные ИЗУЧЕНИЮ древних монет, — работают над бездною вопросов, ВОЗБУЖДАЕМЫХ нумизматикой, при ПОСОБИИ историков и археологов древнего и нового мира, но это — не все. Это — «наука», в обычном определении ее; но нумизмат волнуется и движется не только этим: его толкает, поддерживает в неусыпных трудах, волнует именно ЗРЕЛИЩЕ, и без «живых монет», только по книгам и с книгами — невозможно сделаться «нумизматом». Невозможно (как во всех прочих науках), прочтя сто книг, написать к ним 101-ю. Так выйдет «Цыбульский», а не «нумизмат».

Где же здесь секрет еще? Не захватывая ВПОЛНЕ дела, — мы скажем только о художестве, об эстетике. «Эстетика» — древнее слово,

и значит, — «ощущение»: «эстетика» у древних была физическою, чем теперешняя наука «эстетика», которою занимаются совершенно неуклюжие профессора, ни разу не полюбоившиеся ни женщиною, ни статуею. Нумизматы вот и суть последние «эстетики» в древнем смысле: мотивом их научных трудов и двигателем всей их жизни служат столько же «интересы» в сухом смысле «науки», палеографии, истории и проч., сколько и «осозательный восторг», ими овладающий при всматривании в гипнотизирующее «металлическое зеркало» древнего мира (Бутковский). Тут входит много эстетики: но, в конце концов, есть немножко и магии... От античного мира, с такою безграничною любовью рассматриваемого, отделяется что-то наконец живое, воскресающее — и входит в нумизмата, будя в нем древнеего человека, через атавизм, полузоологический, полуйсторический...

Как в Лермонтове заговорил предок «шотландец Лерма», так в нумизмате пробуждается «старьевщик» Древних Афин, «торговец» Александрии, «soriba» или «cives» Рима, а то и целый «сенатор» Вечного города: и вот это «пробуждение древнего человека в современном» и составляет живой нерв нумизматики. На этой ступени — и для всех нумизматов она есть подлинная и действительная — нумизматика, «сия бедная наука», которой дал такое определение Влад. Соловьев, обращается только в СРЕДСТВО: и, не замечая сами того, нумизматы пользуются предметом своим, и «наукою» и живыми монетами, как орудием... От этого, как я заметил, по Х. Х. Гиле, они не умирают с тоскою: «Ах, вот еще НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ ВОПРОС НЕ РЕШЕН» и «доживу ли я до решения (такого-то) НУМИЗМАТИЧЕСКОГО ВОПРОСА», но умирают или близятся к смерти вполне насыщенные... Как пчела с полною ношею меда, летящая в улей...

Нумизмат всегда доволен. Ничего не «ждет»... Что же сообщает это довольство, эту насыщенность, эту готовность умереть всякий час?.. Откуда это отсутствие ТОСКИ и НЕДОУМЕНИЯ, присущих всякому горячему ученому, перед которым «так много еще вопросов не решено». Да в одном:

— Я смотрел... И насмотрелся...

Это чувство художника, эстетика...

Полны — человека магически воскресшего в древность, погубившего по рынкам Александрии, видевшего Арсиною и Веренику, с этим красивым покрывалом на голове, так хорошо легшим в складку около шеи, под затылком... Путешествовавшего в далекую Нумидию и Карфаген, — где видел символ Ваала, — будто принимающего на руки младенца-жертву (бррр...); по городам Малой Азии, шумным, сплетничающим, воюющим бесплодными войнами и торгующим богатым торгом... Посмотрел на персов, тогда еще мудрых, на их «феруэры» — души, поднимающиеся в жертвенном пламени над алтарем Ормузда... Послушал вестей из Бактрии, из Афин, Колхиды. И говорящего:

Теперь в могилу. В их прекрасный Элизий, где я увижу Ахилла и Mionneti.

Все сыто. Счастливо. Закруглено.

И почти главное для наших скучных времен — «действительные статские советники» отшвырнуты к черту.

Итак, нумизматика, подобно чтению «*Contrat social*» Руссо: будит мужество, восстанавливает здоровье, делает человека сильнее духом и телом. Все нумизматы долго живут: «древние тени» питают их, как Одиссея, принесшего жертву Тирезию.

Нумизматика есть немножко «древнее жертвоприношение», — последнее, оставшееся нам.

Около магии — мифы, сказки, угрозы, предчувствия...

«Удивительно, — передал мне один нумизмат, — все торговцы древними монетами имели трагическую судьбу... Или разорялись, — а некоторые даже кончили самоубийством». Он назвал несколько имен берлинских, мюнхенских и парижских торговцев, сейчас забытых мною. «Вы знаете, — Беккер, ученый-нумизмат, унизившийся до подделки (изумительной!) древних монет, — повесился. Но вообще — все кончались печально. И торговля нумизматическая сейчас в руках одних евреев. Они выжили и богатеют...»

Он рассказывал это мне как «обыкновенную историю», между тем как это — миф и религия: «*SACRA MONETA*» — надпись на поздней монете Констанция Хлора. Могли ли бы мы рубль или копейку назвать «*sacer rubl*», «*sacra copeika*»? Какое несовместимое значение слов: «священный» — ДО БОГА ОТНОСЯЩЕЕСЯ, С БОГОМ СВЯЗАННОЕ: а «рубль» и «копейка» — сюжет менял — скопцов на Гороховой, определивших «римские монеты».

Что же это значит?!

МОНЕТА у нас — надела фрак и танцует, а в древности она носила тогу и приносила жертву богам. То есть? Еще я прочел на английских монетах Августа: «*ARXIEREUS*» — «Архиерей...» Август, усыновленный Цезарем, муж Ливии, отец Юлии, тесть Агриппы, — был... «архиереем»!!! Я почти вскочил со стула, когда прочел это в «металлическом зеркале» красивой сирийской монеты. Этого нет не только у Иловайского, но и у Моммзена.

Одно слово хлынуло на меня потоком света: да, конечно, «религия» для древних, как и их «боги», — были вовсе не то, что теперь нам объясняют в семинариях: что-то бесконечное, весь мир держашее «в узде» («покорности»), и, с другой стороны, — неперменное, как «Отче наш» в таком-то месте бедни. Все было иное... Какое? Но договорим: от всего мира шла религия, от облаков в небе, от дерева в лесу, их «*cives*» были соединены «религиею», волчица с Ромулом и Ремом на Капитолии — была ихнею «иконою», сенат был «иконообразен»... На греко-римских монетах так и читается «*ΙΕΡΟΣ ΣΥΥΚΑΝΤΟΣ*» («Святой Совет»)...

Все «иконообразно» и вместе священно... Точнее, все шумит, делает, трудится, предпринимает, объявляет войны, заключает миры,

«посоветовавшись с богами», испросив у них «знамений» и «указаний» (в жертвах, через рассматривание внутренностей заколотого по ритуалу животного). Что же это такое? Жизнь шумит, «священна» и... «иконообразна». «Религия» не имела того тяжеловесного, страдальческого, трудового, «везущего воз» значения, как у нас: и не носила той «мундирности», «ризности», как у нас же: все было легче, в туниках, в тогах, в легком фимиаме, поднимавшемся от жертвенника, — все было прозрачнее и чище, невиннее и бесполезнее, чем у нас.

И как фимиам от жертвы не замыкался в построенном здании, а неся по полям, на торг, на форум, везде, всюду, — так этою еще «легкою религиею», без «ордена» Станислава 3-й степени, был обнят весь древний мир, и торговец, и моряк, и воин...

— Как же бы Беккеру было не удаться: он подделывал древние «sacrae imagines», «sacras monetas»! Делал — ИДОЛЫ, когда обязан был только вырывать из земли подлинные! Он совершил святотатство — и погиб.

— Да и торгующие... Несдобровали, потому что торговали собственно «иконками» древности, принимая их, как скопцы-менялы, за НАШИ «гривенники» и «рубли», без священного в них значения... И были наказаны богами. Боги, древние, гневные и еще живые боги, — наказали за «неподобное» обращение с частицами своего культа, своей религии, своих храмов — каковыми были тогдашние «сикли», «драхмы», «статеры», «динарии», «асы», — «священство» коих было настолько велико и, главное, чувствуемо, осознаемо, что царям до позднего времени и в голову не приходило выставлять на монетах свои изображения, *imagines humanae*.

Только позже, когда в этой «легкой, как дым» религии цари, совершившие изумившие мир подвиги как «чудотворение», — начали ощущать себя «богами», «Феос» (титул многих царей на монетах), — тогда уже, как «Феос», они начали помещать на монетах и свои изображения, чередуя их с «небожителями-героями», как Геракл, с местными нимфами, с жрицами и вакханками и, наконец, с самими богами и богинями. На монетах Филиппа Македонского — Аполлон, его сына Александра — Геракл: но Гераклу с его символами и одеянием (голова, обернутая в шкуру Немейского льва) придавались черты лица царя; и изредка (на монетах, чеканенных в Родосе) — подлинный портрет Александра Великого; и все же с сохранением символов Геракла.

— Как же было торговцам не разориться. Гневные боги рассеяли их богатство... Сломали хижину, пустили по миру семью. И пощадил только евреев, которые к «монете» имеют совершенно другое отношение, не циничное и не уважительное, а какое подобает древнему человеку — религиозное.

Еврейская вера — ветвь древнего богопочитания. Из Рима присылались жертвоприношения в Иерусалим, как бы пересылались «свечи и масло» с жертвенников Капитолийского Юпитера на жертвенник Элохиму... Но не «Игове», специальному богу одних только евреев. Евреи поклонялись Богу под двумя именами: Игове — это

было открыто ДЛЯ НИХ ОДНИХ; и Элогиму — под каковым именем они Его чтили вместе со всеми народами как Творца Вселенной.

И еврейские первосвященники, вот о коих мы учим в «Зако-не Божием», будто они «всех чужих богов отвергали», РИМСКИЙ фимиах курили на своем жертвеннике. Вот отчего евреи, торгуя «древними образками» (*sacra moneta* Констанция Хлора), — и не разорились, естественно: Афина или Посейдон, как и древние вакханки и нимфы, — на них не гnevаются, как на «своих». Как на себе «двоюродных», как на своих «дедов» и «теток» — племянники, племянницы — и внуки и внучки...

Но этой гипотезы, полной своей уверенности, я ученому нумизмату не сказал. «Осудит за безбожие, ны осмеет, как окаяну». Но «сказки» милы богам.

* * *

Однако я все мало подвигаюсь в изложении предмета.

А. К. Марков «ввел» меня в познание нумизматики, — как я стал собирать монеты, именно как «*sacrae imagines*», как часть древнего «вещепочитания».

Кстати, как у нас просфоры пекут «при церкви», — непременно при ней, и ТОЛЬКО ПРИ НЕЙ, так естественно древние монеты чеканились ПРИ ХРАМАХ. И слово «*sacrae*», как и характер отношения к монетам древних, можно изъяснить через сближение с нашими «просфорами»: это и не «святой», и не «священный» даже, но «чего нельзя касаться всуе». Ни — «лгать около этого» или «обманывать». И, думается, торговля долгое время уже оттого должна была быть честною, добросовестною и строгою, что средством ее были эти «просфорки» из металла, около которых лукавить было «грех».

Римские монеты чеканились при храме богини Юноны: ее римляне почитали невидимою покровительницею монетного мастерства и помогающею резчикам и чеканщикам в их трудном и тонком искусстве. Поэтому среди других своих «призваний» Юнона носила и это — JUNO MONETA.

Следом на рукописи сейчас же — наискось рукою В. В. Розанова стоит крупными буквами:

ДАЛЬШЕ ПИСЬМА ФЛОРЕНСКОГО

* * *

Не в качестве комментария, а в виде беглой заметки хочется отметить историческое значение этой розановской монографии «Об античных монетах». Историческое значение этой монографии среди обширной нумизматической литературы заключается в том, что она разбирает царство античных монет, подходит к этому царству, воспринимает и ощущает это царство исключительным его пониманием, — раскрыванием внутреннего содержания древней мо-



неты, то есть самого ценного, что в ней есть, — ради чего и стоит держать древнюю монету около себя или быть около нее, чувствовать ее мир, — мир, связанный с этой монетой, жизнь этого мира.

Автор этих строк сам одно время собирал древние монеты и интересовался всем, что писалось о них и говорилось в среде нумизматов, — и ни разу не приходилось встречать подхода к древней монете, подобного розановскому. Казенный взгляд на нумизматику и суконный язык описания монет Розанов раздвигает до пределов философии и мистики. И делает он это попутно, в процессе ОСЯЗАНИЯ МОНЕТЫ историческим взглядом, — взглядом историка-провидца в глубь прошедших времен.

В лице древней монеты Розанов видит не металлический кружок с каким-то изображением и с какой-то датой, а как бы окно, через которое он смотрит на античный мир, тут же, сейчас, в живой действительности развертывающийся перед ним в образах и событиях. И перспектива во времени позволяет его гениальному уму делать выводы, заключения, «догадки» и «сказки, милые богам», которых не найдешь ни в книгах, самых серьезных, ни в «компетентных» трудах ни по нумизматике, ни по истории, ни по археологии.

В этой своей монографии Розанов раскрыл не только возможность, но и необходимость «подходить к предмету» не с хроникерской точки зрения «обозрения и записывания», а в плоскости ОЩУЩЕНИЯ ПРЕДМЕТА и через то — ВОСПРИЯТИЯ ЭПОХИ. Розанов показал, что нумизматика, а за нею или вместе с нею история и археология, — каждая самостоятельно и по-своему, — несет в себе то веяние живой жизнью, которое, умирая по форме, бессмертно по существу. То, что Август был архиереем, заставило затрепетать Розанова, он «почти вскочил со стула», когда прочел это на сирийской монете, и сейчас же почувствовал, увидел и ощутил тот «поток света», который позволил Розанову осязательно понять, что религия для древних, как и их боги, были «вовсе не то, что теперь нам объясняют». И рассказывает о том, чего «нет не только у Иловайского, но и у Моммзена».

Это только крохотный кусочек того, как подходит Розанов к нумизматике в целом, и в частности к древней монете. Конечно, если бы и археологи, и нумизматы, и историки подходили «к предмету» по-розановски, то о прошлом мире мы знали бы не только «хронику происшествий» в плоскости репортерских записей, но и самую жизнь ушедших времен в ее живом виде и незабываемом. И восчувствовали бы живую связь прошлого с настоящим и настоящего с будущим, и как бы реально ощутили прошлое и будущее сущим в одном настоящем. И не скользили бы в пропасть наших дней все обезличивающей серости...

Но Розановым сделаться нельзя.

Однако что мешает уяснить путь Розанова и вступить на этот путь и через археологию, нумизматику и историю ПО-РОЗАНОВСКИ ближе разглядеть наше историческое «вчера», чтобы нащупать наше историческое «завтра»? А не плестись кобылкой, то задрав хвост в слепом восторге перед кузнецами нашей эпохи... тьмы и скорби, то опустив этот хвост в слепом невежестве и духовном бессилии.

Как видит читатель, отношение Розанова к древним монетам далеко оставляет позади себя «собираание, хранение и знакомство по каталогу». Собираание и хранение — это всего лишь первый элементарный и внутренне до предела ограниченный шаг, по существу ничего не дающий культурно ценного. По мысли Розанова истинным нумизматом является тот, кто умеет через металлический кружок древней монеты ВИДЕТЬ жизнь ушедших дней и ощущать за отмирающими формами этой жизни ее нити, тянущиеся из прошлого в будущее.

В том именно и заключается ИСТОРИЧЕСКОЕ значение данной монографии Розанова, что она, первая и единственная в познании мира ушедшего, открывает пути к нащупыванию мира грядущего, — не того, который стряпают современные «архитекторы», а того, который по природе самоцветен и свойствен каждому народу.

И роль древней монеты в данном случае является исключительной, — нужно только суметь очистить эту монету и путь к ней от мусора текущей суеты.

Сокровенная сущность нумизматики сводится к раскрытию подзаголовка розановской монографии — «Как и почему пришло на ум собирать древние монеты», к решению этого вопроса с добавлением к нему: кому именно приходит на ум собирать древние монеты. Ежели спекулянту, то тут и разговаривать не о чем, а ежели уму пылливому и эстету, то «собираание и хранение» раздвигается до рамок познания мира в его целом, — со всеми его духовными ценностями. На эту-то сторону нумизматики и указывает Розанов, — указывает так, как это сделать мог только он один.

6

Мимоходом о себе

Летом 1924 года, окончив Петербургскую Академию художеств, я получил звание архитектора-исполнителя и сейчас же начал хлопотать о выезде из СССР в Зап. Европу, где были у меня родные, друзья и знакомые. Хлопоты были изнурительные. В Москве, в Комиссариате иностранных дел, мне откровенно заявили: «Мы вас одного можем выпустить, но вся ваша семья должна остаться здесь в качес-



тве заложников. Или, наоборот, мы семью вашу выпустим, но вы останетесь в качестве заложника». И только в первых числах января 1926 года на повторную просьбу я получил извещение о том, что мне разрешается со всей семьей (мать, жена, сын и дочь) выехать в совершенно незнакомую и во всех отношениях чуждую мне Персию, куда я и прибыл в конце февраля того же 1926 года, будучи взят там под защиту персидских законов.

Прожил я в Персии около 15 лет, работая сперва как архитектор персидского Красного Креста (строил больницы), затем как архитектор гор. Тегерана (строил Большой Оперный театр и имел частную практику) и под конец как архитектор Высочайшего Двора (заново реставрировал знаменитый Сафиабадский дворец начала XVIII века, в северной провинции Мазендеран).

Моя первая связь с зарубежными издательствами установилась в 1927 году с парижским журналом Высшего Монархического Совета «Двуглавый Орел», редактором которого в то время был известный Н. Е. Марков 2-й. Моя первая статья «К открытию Русской гимназии в Тегеране» напечатана в ноябрьском номере «Двуглавого Орла» за 1927 год. Затем в том же журнале были напечатаны две мои статьи — «О мертвых душах российских времен Государственной Думы (В. В. Розанов)» в июльском номере «Двуглавого Орла» за 1929 год и «В. В. Розанов о Церкви» в августовском номере того же 1929 года.

Все рукописи и письма Розанова мне удалось вывести за границу. То были годы нэпа. Это дало мне возможность в начале 1939 года опубликовать в берлинском «Русском национальном издательстве» первое издание моей книги под заглавием — «В. В. Розанов в последние годы своей жизни». С подзаголовком на титульном листе — «Среди неопубликованных писем и рукописей».

В декабрьской книге парижского журнала «Возрождение» за 1960 год был напечатан мой очерк о Розанове (на 14 страницах), в котором я анализирую гениального писателя как философа, мистика и провидца. В богословско-философском ежегоднике «Православный Путь» издания Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (под Нью-Йорком) за 1965 год опубликован мой очерк — «В. В. Розанов. Из личных воспоминаний» (на 18 страницах), где я характеризую Розанова как богоискателя, верного Богу, Царю и Отечеству.

Здесь же попутно отмечу мое пребывание в Шанхае, знакомство с редактором популярнейшей на Дальнем Востоке газеты «Шанхайская Заря» Л. В. Арнольдовым, синологом, философом и талантливым публицистом. У меня сохранился номер этой газеты от 16 апреля 1942 года с его статьей — «Еще и еще раз о Розанове». Эту статью Л. В. Арнольдov начинает так:

Сегодня соберутся своим кружком петербуржцы для повторного доклада о Василии Васильевиче Розанове, русском писателе, русском мыслителе и оригинальнейшем человеке. Доклад будет делать Мих. Мих. Спасовский — едва ли не единственный среди нас человек, лично знавший Розанова. В розановских письмах к Э. Ф. Голлербаху (изд. Е. А. Гуткова в Берлине в 1922 году) на странице 49, в письме от 7 июня 1918 года, между прочим замечательном письме, которое я хотел бы целиком процитировать, значит: «Нельзя ли Спасовскому прислать немножко денег за мою статью в пасхальный номер? Напомните ему» и т. д.

— Этои есть тотсамый М. М. Спасовский, редактор-издатель журнала «Вешние Воды», в котором участвовал Розанов, — сегодняшний докладчик. М. М. Спасовский по образованию архитектор, жил после революции в Персии и не так уж давно пробрался к нам сюда, в Шанхай. У него есть не только номера журнала «Вешние Воды» со статьями В. В. Розанова, но и письма этого выдающегося человека. В прошлый раз он в Офицерском собрании рассказывал, как я слышал, встречу Розанова с Распутиным. В письмах к Голлербаху дается описание знакомства Розанова с Распутиным...

Эта статья Л. В. Арнольдова большая. Мы приведем из нее еще две выдержки:

Сегодняшний доклад очень интересен. Первого я не слышал и содержания его совершенно не знаю, но хочу, в связи с сегодняшним докладом, опять поговорить с читателями о Розанове, тем более что его все еще очень мало русские знают, толкуют его деятельность и книги вкривь и вкось, одни признают и даже восторгаются, другие не признают и даже плюются... Я не знаю, как М. М. Спасовский в своем первом докладе характеризовал Розанова, — он его знал, он его видел, он говорил с ним, он был с ним в переписке, он читал и правил его статьи, но для меня, который знает Розанова только по его книгам, письмам и статьям, по бакстовскому его портрету и еще по некоторым фотографиям, по отзывам людей, кто Розанова знали, любили или не любили, Розанов рисуется таким, как я его себе создал, каким живописую сейчас.

Пишет ли о Розанове Алексей Ремизов в книге «Кукха», издает ли Э. Голлербах «Письма В. В. Розанова», вспоминает ли о нем Зинаида Гиппиус, все теперь они сходятся на одном, что Розанов — это огромное явление в русской литературе и замечательный, оригинальный мыслитель...

Приводит Арнольдов любопытную чисто розановскую выдержку из его «Уединенного» (16 декабря 1911 г., с. 288):

Ну, а девчонок не хочешь? (на том свете). Нет. Отчего же? Вот прославили меня: я и там если этим делом баловался, то, в сущно-

сти, для «опытов», то есть наблюдал и изучал. А чтобы «для своего удовольствия» — то почти не было. Ну, и вывод. Не по департаменту разговор. Перемените тему.

Все это мимоходом мы привели для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что Розанова читали все, даже люди не его лагеря, но любящие (и умеющие) мыслить. Читали и берегли память о нем, пусть даже в каком-то роде юродствующем, но бесконечно отзывчивом, на редкость искреннем и задушевном человеке, — поистине «не от мира сего» по своим озарениям.

7

Многогранность розановского мировосприятия:
«О нашей общественности». — «О российской демократии». —
«О революции». — «О православном царе». —
«О подразумеваемом смысле нашей монархии». —
«О Церкви». — «О евреях»

Мы уже писали выше, что отношение к Розанову со стороны русского общества было и остается довольно своеобразным. Левое крыло, равно как и правое (по партийной линии), тянуло Розанова к себе, как «своего», и делалось это не без видимого основания. А так называемый «центр» никак не относился к Розанову, ибо либо мало знал Розанова или вовсе не знал его, судить же понаслышке или по двум-трем случайным статьям не решался. Была, как и ныне существует в зарубежье, четвертая группа, — ее явно выраженная тенденция сводится к желанию обезличить Розанова, представить его не то чтобы в виде рядового литератора, а вроде как бы неудачного, недоношенного, в общем — серого, с какой-то юродинкой, но не оригинальной юродинкой и «напрасно раздутой».

Мы намерены конкретизировать данное положение, чтобы избежать полемического характера своего изложения, а еще раз подчеркнем то, что уже подчеркивали: Розанов не принадлежал ни к одному из этих течений ОБЫВАТЕЛЬСКИХ мыслей, он не вмещался ни в какие рамки «правых» или «левых» настроений. Розанов был просто РУССКИЙ человек, но Богом отмеченный необычайными способностями мыслить и широко и глубоко, — мыслить ПРОВИДЕНЦИАЛЬНО, нащупывать и осознать то, что доступно и возможно было только гениальной натуре, и то не всякой.

Об этих необычайных умственных и духовных возможностях или, выражаясь несколько иначе, об этой исключительной даровитости Розанова можно отчасти судить по его многогранной способности тонко и с прозрением реагировать буквально на каждое движе-

ние в государственной, религиозной, политической и общественной жизни, не говоря уже о философии и всего, связанного с ней. Розанов как бы парил над всем этим, будучи вне всего этого и одновременно связанным со всем этим. И освещал все это такой мерой своей одаренности, которая не совпадала и не могла совпасть ни с какой мерой обывательской мысли любой марки, даже самой «ученой», самой «просвещенной» и самой «передовой». Все эти «передовые» мысли, в мире интеллектуальном и культурном (solo — уважаю), плелись где-то сзади и внизу Розанова, жалко улыбаясь своему «превосходству». К чему привело это «превосходство», мы знаем — сперва по Февралю, а потом и по Октябрю...

Чтобы хотя бы краешком познакомить нашего читателя с Розановым, с многогранностью его пытливого и острого ума, ниже мы приводим беглые выдержки из некоторых книг Розанова. Эти выдержки и сами по себе, и вместе взятые, без всяких услужливых комментариев, расскажут читателю и о настроении Розанова, и о глубине его восприятия «мира», и о его стиле, — о том существе, о том «нутре» Розанова, которое в целом мало кому ведомо и с которым познакомиться столь необходимо, чтобы знать, какого великого мыслителя имела Россия, и чтобы понять, что Розанов был и не правым и не левым, а именно просто РУССКИМ человеком, — абсолютно свободным от каких бы то ни было влияний извне (тем более партийного) и по гениальной натуре своей органически не нуждавшимся в этих влияниях, да и недоступным этим влияниям в силу своего самоцветного дарования, цельного и твердого.

Быть просто русским человеком в наши текущие, смятенные и путанные, лукавые и лживые дни — звучит неопределенно, тогда как в дореволюционное время быть русским человеком было для русского человека и понятно и нормально. Русский человек связан со всем русским, — со всей своей историей, со всеми своими исконными традициями, со всем духом русской культуры и русского быта — в плане его религиозного и государственного содержания. Тот, кто не имел или не чувствовал в себе эту связанность со своим родным, называл себя или считался ЗАПАДНИКОМ. Этим, в сущности, и ограничивалось деление русского народа — на подавляющую массу русских и на ничтожное меньшинство западников.

С «прогрессивной», ныне вдребезги обанкротившейся точки зрения первые «клеямились» (именно, клеямились!) — «темнотой». а вторые одобрительно назывались «просвещенными».

Именно и очевидно в силу этой своей «темноты» Розанов не был ни антисемитом, ни республиканцем, ни монархистом — в партийном смысле этого слова. И «о евреях», и «о Царях» он писал не как политик, — политиком Розанов никогда не был, всегда оставаясь

просто русским человеком, — а именно как философ, милостью Божией одаренный способностью смотреть поверх внешних форм и видеть СЕРДЦЕВИНУ того или иного феномена, — прозревать то, что от западника было скрыто «за тремя соснами» его слепоты, мелкотравчатости и бездушия и что фактически являлось единственно верным и единственно важным.

В частности, отсюда ценность «Опавших листьев» Розанова, его «беглых мыслей». Но эти мысли не скользили, они не были случайными, негаданно «сорвавшимися с пера» или «мелькнувшими в уме». Они не были надуманными афоризмами, а являлись результатом интуитивного восприятия, глубинного ощущения «предмета». И почти никогда эти свои ощущения Розанов, выражаясь современным языком, не комментировал, а только давал им кратчайшую формулировку — в виде ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ. Этих «листьев» по всевозможнейшим вопросам было «собрано» два объемистых тома в виде нескольких «коробов».

Из этих «коробов» мы сейчас и начнем извлекать розановские «опавшие листья». Листьев этих много, — мы возьмем их небольшую горсть.

О НАШЕЙ «ОБЩЕСТВЕННОСТИ»
«Опавшие листья». Короб второй. 1912–1915.
Из третьей тетради

...Мне давно становится глубоко противна эта хвастливая и подлая поза, в которой общество корежится перед «низким» ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, «низость» коего заключается в том одном, что оно было занято делом, и делом таких размеров, на какие свиное общество решительно не в силах было поднять свой хрюкающий «пятячок» (конец морды). Общество наше именно имело не ЛИЦО, а морду, и в нем была не душа, а свиной хрящик. и ни в чем это так не выразилось, как в подлейшем, в подлом из подлых, отношений к СВОЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, которое оно било целый век по лицу за то, что оно не читало «писем Белинского» и не забросило батальоны ради «писем Белинского». Но с «ПИСЬМАМИ БЕЛИНСКОГО» и супругой Чернышевского, если бы подобно нам и правительство сыропилось в них, повторяя:

Ах, супруга ты, супруга,
Ах, небесная моя!

то Балканы и остались бы, конечно, Балканами, Сербия была бы деревенькой у ног Австрии, болгарские девушки шли бы в гаремы турок, болгарские мужчины утирали бы слезы и т. д., и т. д. и прочее, и прочее. Но сам Струве, САМ целует пятки и колени подлому Желя-

бову¹, считает его «политическим гением», а не хвастунишкой-мужичонком, которого бы по субботам следовало пороть в гимназии, а при неисправлении просто повесить, как чумную крысу с корабля...

Что же это такое, что же это за помесь БЕЗУМИЯ И ПОДЛОСТИ, что когда убили Александра II, который положил же свой ТРУД и ПОТ за Балканы, тот же Струве не выдавит из себя ни одной слезинки за Государя, ни одного доброго слова на Его могилу, а льстиво и лакейски присюсюкивает у Желябова, снимает с него носки и чешет ему пятки, как крепостная девчонка растопыренному барину.

Да, с декабристов и даже с Радищева еще начиная, наше ОБЩЕСТВО ничего решительно не делало, как писало «письма Шпоньки к своей тетушке», и все эти «Герцены и Белинские» упражнялись в чистописании, гораздо бесполезнейшем и глупейшем, чем Акакий Акакиевич...

Сею рукопись писал
И содержание оной не одобрил
Петр Зудотешин.
Петр Зудотешин.
Петр Зудотешин.

Вот и все «полные собрания сочинений» Герцена, Белинского и «шестидесятников».

Батальон и элеватор

Но кто его строил? Александр II и Клейнмихель. Да, этот колбасник, которого пришлось взять царям в черный час истории, — потому что собственное общество, потому что САМИ-то русские все скрылись в «письмо тетеньки к Шпоньке» в обаятельную Natalie и во весь литературный онанизм. Онанисты — вот настоящее имя для этого общества и этой литературы; онанисты под ватным уездным одеялом, из «угольничков» сшитым, которые потеют и занимаются своими гнусностями, предаваясь фантазиям над раздетой попадеей.

О, какие уездные чухломские чумички они, эти наши социал-демократы, все эти знаменитые МАРКСИСТЫ, все эти «Письма Бакунина» и вечно топырящийся ГЕРЦЕН. Чухлома, Ветлуга, пошлая попадья — и не более, не далее. Никому они не нужны. Просто, они — НИЧЕГО.

Эта подлая Чухлома проглядела перед своим носом:



¹ Речь идет о пресловутом русском либерале-масоне и помощнике Лени-на, ныне покойном Петре Бернгардовиче СТРУВЕ. Придя в ужас от плодов своих рук, Петр Струве в 20-х годах бежал из СССР за границу. В эмиграции он редактировал покаянный «орган национальной мысли и освободительной борьбы» — еженедельную газету «Россия» (Париж, 1927—1928) и позже «орган национально-освободительной борьбы» — журнал «Россия и Славянство». Желябов — один из убийц императора Александра II — ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ. (Прим. М. Сп-ого)



АЛЕКСАНДРА II и КЛЕЙНМИХЕЛЯ, которые создали ЭРМИТАЖ, создали ПУБЛИЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ, создали АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ, создали как-никак ВОСЕМЬ УНИВЕРСИТЕТОВ, которые, если г...нные, то уж никак не по вине Клейнмихеля и Александра II, которые виновны лишь в том, что не пороли на Съезжей профессоршешек, как следовало бы.

— ВО ФРУНТ, ПОТНОЕ ОТРОДЬЕ! — следовало бы им скомандовать.

— Вылезайте из-под одеяла, окачивайтесь студеной водой и пошла-ка делать С НАМИ ИСТОРИЧЕСКОЕ ДЕЛО: и освобождения славян, и постройки элеваторов.

Тут объясняется и какая-то жестокая расправа со славянофилами.

Эх, все это — БОЛТОВНЯ, все это — «Птичка Божия не знает», когда у нас

НИЧЕГО НЕТ,

ЭЛЕВАТОРОВ НЕТ,

КОГДА НЕМЕЦ ИЛИ ЯПОНЕЦ ЗАВТРА НАС СОТРЕТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ.

— В солдаты профессоров!

Да, вот команда, которую, хоть ретроспективно, ждешь как ман-ны небесной.

Боже мой: целый век тунеядства и такого хвастливого!

В «Былом» о чумных крысах рассказано «20 томов», сколько не было о ВСЕЙ борьбе России с Наполеоном, сколько, конечно, нет о «всех элеваторах» на Руси, ни о Сусанине, ни о всех Иоаннах, которые строили Русь и освободили ее от татар.

Поистине цари наши XIX века повторяли работу московских первых царей — в невозможных условиях хоть построить что-нибудь, хоть сохранить и сберечь что-нибудь. В «невозможных условиях»: так как общество ничего не делает и находит в том свою гордость.

Безумие, безумие и безумие; безумное общество. Как объясняется и Аракчеев; как объясняются вспышки лютой и в нашем правительстве:

— Да что же вы ничего не делаете?

Об Аракчееве только и кричат, что он откусил кому-то нос. Ну, положим, откусил, но ведь не осталась от этого «безносой» Россия. Подлецы: да, шляясь по публичным домам, вы не один «нос» потеряли, а 100 носов, 1000 носов, говорят, даже у самого «финансиста» недостает носа, и если бы вовремя ЗВЕРЬ-АРАКЧЕЕВ послал к черту эти бар..., то ОН — ЗВЕРЬ сохранил бы 1000 носов, а за 1000 носов можно обменять один откушенный. Нужно ЖЕЛЕЗО.

Этим железом и был «Сила Андреевич», к которому придираются еще за «Настасью», хотя сам придирающийся профессор лезет к ночи к своей «Парасковье» на кухне, тоже под ватное одеяло. И вообще это (любвищицы) мировое и общее, а не «свойство Аракчеева».

Да, ОДИН Аракчеев есть гораздо более значащая и более ТВОРЧЕСКАЯ, а следовательно, даже и более ЛИБЕРАЛЬНАЯ («движение

вперед») личность, чем все ничтожества из 20-ти томов «Былого» с Михайловым — «дворником» и Тригони и всеми романами и сказками «взрыва в Зимнем дворце». «Колокол» Гауптмана — в него звонит Аракчеев, а не Тригони; Шиллер и Шекспир — писали об Аракчееве, а вовсе не о Желябове. Поэзия-то, философия-то русской истории, ее святое место, — и находится под ногами... страшно и слезно сказать, но как не выговорить, взирая на целый Балканский полуостров, на возрождение 18-ти миллионов народа, что... эта святая земля нашей России — под ногами, скажем ужасное слово, просто КЛЕЙНМИХЕЛЯ.

Да. Лютеранина и немца. Чиновника, чинодрала. Узкой душонки, которая умела только повиноваться. Но она повиновалась, безропотно и идиотично, безропотно, как летящий в небесах ангел, — ЦАРЮ.

Который один и сделал все. Вот вам ответ на «Историю русской литературы».

О РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ Опавшие листья. Том второй. 1912–1915

Русский ленивец нюхает воздух, не пахнет ли где «оппозицией». И, найдя таковую, немедленно пристает к ней и тогда уже окончательно успокаивается, найдя оправдание себе в мире, найдя смысл свой, найдя, в сущности, себе «царство небесное». Как же в России не быть оппозиции, если она таким образом всех успокаивает и разрешает тысячи и миллионы личных проблем. «Так» было бы неловко существовать; но «так» с оппозицией есть житейское «comme il faut».

Пришел вонючий разночинец. Пришел со своею ненавистью, пришел со своею завистью, пришел со своею грязью. И грязь, и зависть, и ненависть имели, однако, свою силу, и это окружило его ореолом «мрачного демона отрицания»; но под демоном скрывался просто лакей. Он был не черен, а грязен, и разрушил дворянскую культуру от Державина до Пушкина. Культуру и литературу... («разночинцы» в литературе и упоение ими разночинца — Михайловского).

Демократ имеет под собою одно право... хотя, правда, оно очень огромно... проистекающее из голода... О, это такое чудовищное право; из него проистекают убийство, грабеж, вопль к небу и ко всем концам земли. Оно может и ВПРАВЕ потрясти даже религиями. «Голодного» нельзя осудить, когда он у вас отнял кошелек. Вот «преисподний» фундамент революции. Но ни революция, ни демократия, кроме ЭТОГО, не имеют никаких прав. Да, ты ЗАРЕЗАЛ МЕНЯ, и, как голодного, я тебя не осуждаю. Но ты еще говоришь что-то, ты хочешь души моей и рассуждаешь о высших точках зрения: в таком случае я плюю кровью в бесстыжие глаза твои, ибо ты менее голодный, чем мошенник.

Едва демократия начинает морализовать и философствовать, как она обращается в мошенничество. Тут-то и положен для нее исторический предел.

доумение. Злоба, много злобы, «Лишние люди», «Тоскующие люди», «Дурные люди». Все врозь. «Тащи нашу монархию в разные стороны!» — «Эй, Ванька, ты чего застоялся, тащи, другой минуты не будет!» Горилка. Трепак. Да, это уже не «придворный менуэт», а «нравы Растеряевой улицы».

Революция имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь СПЕЛОГО, ВКУСНОГО плода; никогда не «завершится». Она будет все расти в раздражение, но никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек говорит: «Довольно! Я — счастлив. Сегодня так хорошо, что не надо завтра...» Революция всегда будет надеяться только на «завтра». И всякое «завтра» ее обманет и перейдет в «послезавтра».

В революции нет радости. И НЕ БУДЕТ. Радость — слишком царственное чувство и никогда не попадет в объятия этого ЛАКЕЯ. Два измерения: и она не выше человеческого, а ниже человеческого. Она механична, она материалистична. Но это не случай, не простая связь с «теориями нашего времени», это — судьба и вечность. И, в сущности, подспудная революция в душах обывателей, уже ранее возникшая, и толкнула всех их понести на своих плечах Конта, Спенсера и подобных.

Венцом революции, ЕСЛИ ОНА УДАСТСЯ, будет великое Уснуть.

Самоубийства, эра самоубийств...

— ДА, РУССКАЯ ПЕЧАТЬ И ОБЩЕСТВО, НЕ СТОИ У НИХ ПОПЕРЕК ГОРЛА. «ПРАВИТЕЛЬСТВО» РАЗОРВАЛО БЫ НА КЛОЧКИ РОССИЮ И РОЗДАЛИ БЫ ЭТИ КЛОЧКИ СОСЕДЯМ ДАЖЕ И НЕ ЗА ДЕНЬГИ, А ПРОСТО ЗА «РЮМОЧКУ» ПОХВАЛЫ. И вот отчего без нерешимости и колебания нужно прямо становиться на сторону «бездарного правительства», которое ВСЕ-ТАКИ одно только все охраняет и оберегает. Которое еще одно не подло и не пропито в России.

О ПРАВОСЛАВНОМ ЦАРЕ

«Опавшие листья». Короб второй. 1912–1915.

Из второй тетради

Сказать ли наконец истину (которую едва сознают через сто лет), что ОБЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ в политике начнется только с момента, когда общество, сняв шапку, поклонится Государю и скажет:

— Ты первенец Земли Русской, а мы — десятые и сотые. Но и сотые, и десятые имеют свой час, свой урок, свою задачу, свою судьбу, свое указание от Бога. Иди и да будут благословенны пути Твои. Но и Ты, оглядываясь на своих деток — благослови тоже наши шаги.

Я сам прошел (в гимназии) путь ненависти к правительству... к лицам его, к принципам его... от низа и до верхушки... Путь страстного горения сердца к «самим устроиться» и «по-молодому» (суть революции), и следовательно, мне можно поверить, когда в 57 лет (а в сущности, начал еще в университете) я говорю, что В РОССИИ

Вот почему злоумыслить что-нибудь на царя и отказать ему в повиновении, если он по болезни страстен и гневен (Грозный) или даже если бы он был лишен рассудка, — УЖАСНАЯ ВЕЩЬ В ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ, всего будущего, тысячи лет вперед; ибо это неповиновение или это злоумышление могло бы в последующих государствах разрушить то главное, что составляет суть всего: их благость и их всецелую без остатка для себя благорасположенность ко всем и всему окружающему в стране своей. Перикл, зная, что его «изгонят» или могут изгнать, «вдруг» стал бы «откладывать в копилку про черный день и на случай».

Из царя именно исключен «случай» и «черный день». Все дни царя суть светлы, и о светлых днях ему молится весь народ, ибо непрерывный свет в душе царя есть тот свет, которым освещается вся страна. Вот отчего и история с Павлом I была черна, подла, омерзительна для воспоминания, и ее антиблагой характер, «вредный последствиями», был как бы мы проиграли 12-й год; и отчего гг. из Женевы и Парижа и должны быть не просто казнимы, а истреблены, ибо сами они истребляют, в сущности, весь свет, всю радость, весь смысл, которым живет и осмысливается и окормляется весь русский народ.

Вот отчего «раздражить» Государя, сделать ему «огорчение» есть величайшее народу злодеяние. «Перикла обворовали». — «Нет Перикла!» — Ну, а что значит «нет Перикла» для Афин — это знает Иловайский, да и не он один.

Вот отчего истребление всяких врагов Государя и всякой вражды к Государю есть то же, что осушение болот, что лучшее обрабатывание земли, что дождь для хлеба и проч. Никакого черного дня Государю! Все дни Его должны быть белы — это КОРЕННАЯ ЗАБОТА НАРОДА, на которую, как на хорошую пахоту — урожай, отвечает любовь ВСЕМОГУЩЕГО существа о народе, труд для него, забота о нем.

Теперь о вере, Евангелии и Христе. То есть о Церкви, которая ничего еще и не делает и ничего еще и не имеет, кроме как хранить, говорить, учить и распространять Евангелие, Христа и Вечную Жизнь.

Едва я сказал, как все закричат: «Да ведь это цивилизация!» Это уже не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в 20-ти томах, это не «наш Николай Григорьевич» (Чернышевский), все эти лапти и онучи русского просвещения, а это цивилизация В САМОМ ДЕЛЕ, от пришествия гуннов и Алариха до Эдуарда Исповедника, до Крестовых походов, до рыцарства, до Сервантеса, до Шекспира и самой революции.

Что же тут трясутся «в изданиях Пирожкова» Ренан и Штраус: да их выдрать за уши, дать им под зад и послать их к черту. Если запищат наши «Современники» и девица Кускова — сослать их за Кару. Что же делать с червяком, который упал с потолка вам в кушанье? Такогового берут в ложку и выплескивают к черту.

Вечная Жизнь и Бокль, проповедь Апостолов и 43 года «Вестника Европы», который не удостоил их хотя бы когда-нибудь назвать по

имени и, верно, не знал, что их «12» («исторический» журнал). Какое же рассуждение: «Вестник Европы» нужен 6000 своих подписчиков, Евангелие БЫЛО необходимо человечеству двадцать веков, КАЖДОМУ в человечестве. Кто же бережет лопух, который заглушает сад, кто бережет червь, который ест яблоко, и кто бережет разбойника, который режет на дороге? Никакого рассуждения, что все это к выбросу.

Но я говорю о корнях (исторических), когда хочу рассуждать: в Евангелии, в одной книге, «в Церкви», то есть в одном учреждении, Европа — не русские и не немцы, а Европа имеет ТО ОДНО, как бы «в горсть взятое», чего не имели Греция и Рим, не имеют и Китай, и Индия. Ибо там если и есть Будда, Конфуций, то это — философия, которая еще имеет соперничество в более древних лицах. Но Европа, и только одна ОНА, имеет ОДНО РОЖДЕНИЕ из одного ЛИЦА — Христа. Нет «Европы», а есть «Христианский мир», и все знают, что «Христианский мир» обширнее, многозначительнее и вечнее «Европы», а «Христос» обширнее «Христианского мира» и есть «Вечность» и «Все».

Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку надо было драть за уши, а «Николаю Григорьевичу» дать по морде, как навонявшему в комнате конюху. Что никаких с ним разговоров нельзя было водить. Что их просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять.

Догадываетесь ли вы, наконец, что цивилизация XX века, которая в значительной степени есть антихристианская, была вовсе не «цивилизация», а скандал в ней, и не «прогресс», а «наследили на полу», и надо это подтереть. Пришли свиньи и изрыли мордами огород: это не значит, что огороду не надо быть и надо к осени остаться без овощей, а значит, что свиней надо прогнать или заколоть, а гряды поправить, вырытое вновь всадить в землю и по осени собирать плоды.

И вот эта «Церковь» — она уже до того превосходит Россию, она до того превосходит Европу, что Русский Царь, о котором я сказал все слова, какие сказал, — Он склоняется перед одною Церковью как перед Вечным Источником жизни всех, и так же страшится и испуган Ее огорчить, как каждый из нас страшится и испуган огорчить Его.

И эти два, в сиянии, образуют свод над мужиком и Русью, над каждым и всеми. Какого не имели ни Рим, ни Афины.

О подразумеваемом смысле нашей монархии

Так названа одна из книг Розанова, изданная в 1912 году в Петербурге. Извлекаем из VII главы этой книги некоторые места, наиболее ярко и показательно характеризующие подход Розанова к монархии вообще и к русской, в частности.

Как солнце есть источник лучей не только световых, хотя они одни в нем видны, но и термических, химических, быть может, еще

революции, не понятый историками, не уловленный теоретиками государства — есть момент ОПРЕДЕЛЕНИЯ в народных представлениях власти монарха, как связанной с чем-нибудь ОПРЕДЕЛЕННЫМ в его бытии, связанной только с ЭТИМ ОДНИМ и обрывающейся, как только это одно потрясено.

Генрих VIII в Англии не низвергается, разрушив Церковь древнюю, установив новую по своему произволу, — развратный и жестокий тиран. Карл I (после заботливой Елизаветы) уже вызывает против себя революцию стеснением эмиграции, собиранием податей помимо одобрения парламента. Карл IX, совершив Варфоломеевскую ночь, — Христиан II, устроив в Стокгольме «кровавую баню» — наш Иоанн Грозный и ряд государей слабоумных (Феодор Иоаннович), помещанных (Карл IV во Франции), плененных (Франциск I, Иоанн Добрый), без вести пропавших (Ричард Плантагенет) оставляли народ в покое, в горести, в сожалении, страхе, ужасе, но никогда — в возмущении. О ЧЕМ же было сожаление, за ЧТО в государстве страх, чем было удерживаемо возмущение, если налицо не было не только благодетельной власти государственной, но и не было государя иначе как помешавшегося или потерянного?

Вспомнимся в факт, ближе, понятнее, ярче светящий перед нами: разве кровь, проливаемая Иоанном IV, текла без боли? Разоряемый Новгород, готовый стать разоренным Псков — не трепетали? В Ливонской войне не было унижено царство? Итак, что берегли в этом теле — старом, ненужном, блудном, упившемся в крови? Государя ли, когда всякий на месте его был лучший? Правителя беззаконного, военачальника побитого, политика осмеянного, судью бессудного? Нет, все это было ему... не прощено, не забыто, но все это — малилось перед необъятным иным, что он нес в себе, в этом изношенном теле, помешанном уме, развращенном сердце, точнее — что нес, что светило для всего народа ОКОЛО этой не погаснувшей, мучительной, презренной и, однако, бережно хранимой жизни.

Мы не определяем, не хотим определить смысл этого света; мы на него указываем; и никто не отвергает, что и псковитяне, и новгородцы, и Филипп Святой, и Курбский именно ради этого невыраженного и чувствуемого света не осмелились для защиты своей поднять руки, даже слишком возвысить голос, но — умерли, пострадали и облили бы презрением, вознегодовали бы против потомков своих, если бы так же покорно и безропотно не пострадали, не умерли они...

Монарх самоограничивается и потом уже — ограничивается извне или теряет вовсе власть. При целости и полноте в нем черт, отложенных мириадами деяний минувших и полузабытых, самая мысль об его ограничении так же чужда бывает времени, враждебного каждому человеку, как показалась бы ему враждебна мысль ограничить его собственную связь с историей, оборвать дорогое, нужное, святое — что он от нее несет в своих нравах, воспитании, навыках, целом физическом и духовном своем бытии.

Как омофором священным, — от бурь истории, от ненависти человеческой монарх ЭТИМ именно охраняется, — в грехе и доблести,

силе и слабости, рассудительности и даже безумии; что ему все проходит, пока не снят, не свисел над ним, не оттолкнут самим им безрассудно этот оберегающий его, Промыслом оберегаемый над ним, Покров...

* * *

В заключение этой главы мы позволим себе привести из статьи архимандрита Константина (в миру проф. Кирилла Зайцева) — «Минувший век» СУЖДЕНИЯ РОЗАНОВА О ЦЕРКВИ. Этой цитате о. Константин предпосылает такую фразу:

«Чтобы понять, с чем шел навстречу Церкви русский интеллигент, в его “духовной жажде”, обратимся к В. В. Розанову, деятельному члену этих собраний и гениальному выразителю современных ему веяний».

Вышеупомянутая статья о. Константина с цитатой из Розанова напечатана в богословско-философском ежегоднике «Православный Путь» за 1955 год (изд. Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, США).

Итак, Розанов пишет:

Я много лет каждое воскресенье бывал в церкви. Бываю здесь в Петербурге, бывал в Москве. Бывал в провинции. Мало где чиновник, судья, моряк, генерал, журналист, доктор, общественный деятель стоит среди народа и молится усердно. В большинстве — одни простолюдины. Простолюдины и еще в самом небольшом числе образованные женщины. Это гораздо более жутко, чем книги Штрауса и Ренана...

Задавая себе вопрос о Церкви — я нахожу догматы ее, нахожу ее службы и обряды. Но я раскрываю катехизис Филарета и, прочитав в нем: «Церковь есть общество верующих, соединенных единством догматов и тайн, — оглядываюсь кругом и спрашиваю: Ну, а где же, однако, это самое общество?»

Закваска для теста есть: это — учение Христово, догматы, таинства; есть и хлебопекарь — духовная иерархия; но нет муки — и нельзя замесить теста и испечь хлеб. Мука — это верующие, как общество, организованное около Церкви. Нам, интеллигенции, предлагается «мириться» с Церковью, пойти «в Церковь».

Ну, вот я — интеллигент. Я не знаю, с кем мириться мне и куда мне пойти, потому что по Филаретову определению Церкви... ее как будто нет... Прихода нет... Мы странствуем от храма к храму и заходим в храм, а пожалуй, и не заходим в него... как на почту отдать письмо. Так странствуют бедуины в пустыне, подходят к колодезю, когда хочется пить, а не хочется — проходят мимо.

Но храм есть душевное. и я также не могу иметь «вообще там где-то» храм, как не могу иметь «вообще там где-то» постель, обед, жено и комнату. Это странствование христиан без прикрепления к ним



храма и вызвало то, что в конце концов храмы очутились на одном берегу мировой реки и довольно пусты, а народ очутился на другом берегу той же реки, и уж не взыщите, если не идет в храм, в который его не позвали или, пожалуй, и зовут. даже очень зовут, но в качестве гостя-посетителя.

«Нет религиозной жизни» — жалуются... Да взгляните: религиозная-то жизнь в обществе есть, и даже горячая, но стала личной, внутренней, комнатной, а не храмовой, потому что в храме, как и всяком не моем месте, я чувствую себя чуждым, ненужным. «Гостю» и положение гостя, и психология гостя: шапку взял и вышел...

Церковь теперь в смысле организованного общества верующих ограничивается староствою, клиром и консисторией. Но взыскивать ли, что я, мирянин, не чувствую себя и не веду себя как староста или клирик, или член консистории, а как любитель литературы, лекций, театра, где я не гость, а делатель, творец, критик и немного и косвенно даже и власть. Свое дело любишь. Свое творение любишь. В церкви я не творю — и — холоден к ней.

Храм чужое место и чужое дело, дело клириков и какой-то там запутанной администрации, где я... помолился, как опустил письмо на почте или взял в булочной булку. Но не буду я засиживаться в булочной или на почте, и если уж храм повернут ко мне так официально, то пусть уж не взыщут, что и я не держу его за пазушкой. Я ему не тепел, и он мне не тепел.

Но, слава Богу, мы говорим об этом, и кажется оттого, что не только миру холодно (что всегда и уж века было), но и сам храм почувствовал, что ему тоже холодно, что он сам выстужен... заледенел. Великие признаки. Великое сознание.

Спросят, — чего же вы хотите? Святости на месте святом — самая простая вещь... Бог есть в интеллигенции, и крепко есть. Только Он у меня не на языке, а в делах. Время атеистической интеллигенции минуло... Как только клир разорвет с замкнутостью, он станет не для одних только «простолюдинов», но и для интеллигенции «нашим» клиром, близким и родным нашим духовенством, и мы не только не отнимем, а еще и прибавим ему богатства и власти, ибо почувствуем, что власть эта уже не против нас, а наша же и с нами, и богатство это тоже не от нас взято, а как бы к нам прибавилось.

Примирение интеллигенции и духовенства слишком возможно, но только после некоторого мирового «Помилуй мя, Боже...».

* * *

Под влиянием этих розановских строк хочется бросить пару фраз от себя, подчеркнуть и оттенить, что наше время в особенности требует от нас (и для нас), чтобы если не церковный быт, то дух этого быта вошел в нашу русскую ОБЩЕ-народную жизнь, — чтобы Церковь и народ, — Церковь не как администрация, а как ТЕЛО ХРИСТОВО, дышали одной грудью, одним воздухом, — воздухом общего биения сердца и общего горения мысли.

Именно отрыв народа в лице его интеллигенции от Церкви и привел Россию к катастрофе, — у людей не только замутился ум, но и опустошилась душа, а вместе со всем этим и зашаталось все и прежде всего совесть, мораль, нравственные обязательства, устой ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, нашего христианско-православного бытия, все идеи ПРАВЕДНОЙ общественной и государственной жизни.

* * *

Остается еще добавить к этой главе МЫСЛИ РОЗАНОВА О ЕВРЕЯХ. Мы нарочито говорим «мысли о евреях», ибо Розанов по еврейскому вопросу писал не как «разоблачитель» или «уличитель» — на положении «антисемита», а как исследователь иудаизма в исторической перспективе, — так же, как он касается древних религий других народов, освещая эти религии с философской и в какой-то степени мистической точки зрения.

И в дореволюционное время и теперь вот те самые «демократы», которых так блестяще охарактеризовал Розанов, иногда пытаются приклеить к Розанову кличку «антисемита». Они попытались бы приклеить к нему кличку и «мракобеса», если были бы немного последовательнее и немного смелее.

Но все эти попытки настолько глупы и смешны, что только конфузят их авторов. Фактическими мракобесами — по еврейскому вопросу являются те, кто пыжится работу по исследованию древних религий вообще и иудаизма в частности прикрыть, наложить на такую работу ТАБУ, запрет, — очевидно, не понимая, что подобной мерой эти джентльмены бросают густую и подозрительную тень на весь иудаизм в его целом.

По еврейскому вопросу — в широком понимании этого слова Розанов писал много и оригинально, с присущим ему гениальным прозрением. Мы здесь приведем всего лишь три-четыре его мысли, чтобы познакомить читателя с характером подхода Розанова к евреям, к определению их психологических особенностей, как эти особенности видел и понимал Розанов.

О ЕВРЕЯХ

«Опавшие листья». Короб первый и второй. СПб., 1912—1915

Еврей силится отмыть какую-то мировую нечистоту с себя, какой-то допотопный пот...

Еврей всегда начинает с услуг и услужливости и кончает властью и господством. Оттого в первой фазе он неуловим и неустраним. Что вы сделаете, когда вам просто «оказывают услугу»? А во второй фазе никто уже не может с ним справиться. «Вода затопила все». И гибнут страны, народы.

Услуги еврейские, как гвозди в руки мои. Ласковость еврейская, как пламя обжигает меня. Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо, обвеянный этой ласковостью, задохнется и сгинет народ мой. Ибо народ наш неотесан и груб. Жесток. Все побегут к евреям. И через сто лет «все будет у евреев».

Сила евреев в их липкости. Пальцы их — точно с клеем. «И не оторвешь». «Все к ним прилипает». И они ко всему прилипают. «Нация с клеем».

Евреи «делают успех» в литературе. И через это стали ее «шефами». Писать они не умеют: но при этом таланте «быть шефом» им и не надо уметь писать. За них напишут все русские, чего они хотят и что им нужно.

Вся литература (теперь) «захватана» евреями. Им мало кошелька: они пришли «по душу русскую».

Паук один, а десять мух у него в паутине. А были у них крылья, полет. Он же только ползает. И зрение у них шире, горизонт. Но они мертвы, а он жив. Вот русские и евреи. 100 миллионов русских и 7 миллионов евреев.

Только русская свободоушка и подышала до евреев, которые ей сказали «цыц!». И свободоушка завилыла хвостом.

Погром — это конвульсия в ответ на муху. Паук сосет муху. Крылья конвульсивно трепещут — и задевают паука, рвут бессильно и в одном месте паутину. Но уже ножка мухи захвачена в петельку. И паук это знает. Крики на погром — риторическая фигура страдания того, кто господин положения.

8

Критики Розанова. — Христианская конгина Розанова

О Розанове как в свое время, так и теперь много писалось и пишется «за» и «против». И что всего характернее, как те, так и другие в своей критике Розанова не дают его какое бы то ни было определение. Кто же Розанов, что он собою представляет, — положительное явление на ниве русской мысли или отрицательное? Вопрос этот элементарный и плоский, ибо даже «злой» гений по внутренней сути своей есть явление положительное, — ибо гений есть гений, — отмеченная богом особь. Но именно с таким вопросом если не открыто, то «в тайне» подходят к Розанову. И потому теряются в его определении. «Розанов как будто бы положительное явление», и в то же время он «как будто бы и отрицательное». Отсюда недоношенность всей критической литературы о Розанове.

Все сходятся на том, что Розанов — гениальный публицист, что он обладал даром глубокого аналитика в отношении людей и событий, умел проникать в суть и понимать эту суть, что не было таких вопросов и тем, на которые ни откликался бы Розанов с присущим

ему озарением, что влияние Розанова было и остается огромным, но, как пишут критики, влияние это малозаметно, ибо «Розанов был растрепанным в своих мыслях» или, как выражался о нем Ив. Соловьевич, — «путаным».

Каждый из критикующих Розанова, как бы ни старался быть «объективным» — мысленно, а то и «конкретно» сравнивал его с кем-либо из «больших» писателей, сопоставлял и неизбежно находил из этого сравнения «пороки» Розанова: кто «ложность» его, кто — «бесстыдство», а кто даже и «кошунство». Так, суживая свой подход к Розанову и при этом всегда забывая сугубое своеобразие гениальной даровитости Розанова, которое начисто исключало возможность сравнивать Розанова с кем бы то ни было, господа критики ограничивали поле своего зрения и видели Розанова лишь в какой-то его части или в каких-то двух-трех «разрозненных» частях, а не в целом. И фактически не Розанов выходил из-под пера этих критиков «растрепанным» и «путаным», а понимание, знание и оценка этого мыслителя получалась у критиков и растрепанной, и путаной.

Розанова надо брать в НЕ-сравнимой его самоцветности и в НЕ-повторимой его индивидуальности. Как человек, да еще с такой пылливой отзывчивостью буквально на каждую «злобу дня» Розанов мог в суеде своей журнальной (ежедневной) работы делать «неувязки», тот или иной «перегиб» или «недогиб», ту или иную крайность или недосказанность, — но не в них, не в этом ворохе обыденщины и не в этих мелочах текущей прозы жизни ценен, важен, интересен и значителен Розанов.

Ценен и значителен Розанов полностью и чистотой своего русского гения. На его миро-ОЩУЩЕНИИ нет даже тени влияния извне. Розанов был настолько силен, и сила его гения настолько глубока, что его вернее всего рассматривать, как самородок в его первозданном виде, — как самородок золота, а не как слиток золота. Различные философские системы Розанов знал хорошо, но он был вне их. Эти системы были не в его масштабе, не в его перспективе. Розанов не видел в них «последнего слова» — в них ему не к чему было прислушиваться, и они проходили мимо, внутренне не задавая и никак не «трансформируя» его. Гений Розанова настолько САМО-цветен и САМО-бытен и в то же время энциклопедичен по своей интуитивной природе, что искать чего-то или каких-то ответов и откровений «на стороне» у него просто не было надобности. В этом смысле Розанов был несомненно феноменальным явлением. И оценивать Розанова по той или иной грани его творческой мысли — это значит просто не понимать его, не видеть его в целом, не чувствовать его всего.

Единственным «серьезным недостатком» Розанова является отсутствие у него «стройно изложенной доктрины», как это принято

понимать у «классических» философов и богословов. Этот свой «недостаток» или «упущение», или «пробел» Розанов и не стремился исправить, — он не стремился все свое собрать воедино, — свое «учение» уложить в какие-то стройные рамки, разбить на отделы, главы и параграфы. Это он считал и смешным, и ненужным.

Возможно, что у Розанова не хватало времени, чтобы заняться этим «укладыванием в рамки» длинной цепи своих мыслей, — но возможно и то, что он и не искал, а если и искал, то не находил этих рамок, — таких рамок, в которые уложилась бы его доктрина, как он ее понимал, и чтобы ее поняли другие.

Но будет время, и в этом сомневаться не приходится, когда найдется «исследователь Розанова» — ПОНИМАЮЩИЙ его, который и соберет мысли Розанова, рассортирует их по их духу и по их прозрениям, как-то систематизирует их, выявит их цельность и ясность и тем оформит розановское учение. Близкие ему по своему душевному настроению и по складу своего умственного характера видели связанность розановских мыслей и их определенность, — определенность его миро-ОЩУЩЕНИЯ и потому не находили в Розанове ни «растрепанности», ни «путаного».

Автор этих строк и до революции, и после нее многократно сталкивался с этими многими БЛИЗКИМИ Розанову и никогда не слышал от них «гнева» на Розанова, недоумения или раздражения. Правда, не было и «осанны», того современного демагогического кликушества вокруг рекламируемых кумиров улицы, которое так всегда отдает дешевкой. Но было зато главное, НЕ-приемлемое улицей, тем «вонючим разночинцем», который сегодня так ликующе справляет «бал» своей торжествующей пошлости, — было самое главное: — приятие ВНУТРЕННЕЙ преданности Розанова Церкви, царю и своему Народу Русскому и страха Розанова за судьбу всех их — «взятых в горсть».

И рассматривал Розанов это триединое начало, специфически РУССКОЕ начало, не с политической точки зрения партийного порядка. Всякую политику, а партийную в особенности, Розанов презирал, — он рассматривал это начало с государственной, вернее, с религиозно-государственной точки зрения, то есть проникал в сердцевину существа вопроса. И так как Розанов был СВОБОДЕН в своей мысли, чист и честен, то вскрывал ПОДЛИННЫЕ ОСНОВЫ НАРОДНОГО ЦВЕТЕНИЯ, извлекая эти основы из-под шелухи преходящего. И смеялся над теми «парработниками», которые дальше этой шелухи ничего не видели или не смели видеть и которые превращали эту шелуху в фетиши и лозунги своей «борьбы за счастье народное», за «невыразимо прекрасное будущее».

Все это упускается критиками Розанова.

Частые встречи и беседы с Розановым неоднократно убеждали автора этих строк, что Розанова надо или принять положительно, или отвергнуть целиком. Рассматривать же — «критиковать» Розанова в плане лишь какой-то одной грани его творчества значит спекулировать им, даже больше, — дискредитировать его гениальную даровитость как большого русского самородка-мыслителя исключительно порядка.

* * *

Каково значение Розанова для России? Громадно, — и в русской литературе, и в русской истории, и в русской науке. Значение именно ДЛЯ России, ибо Розанов вложил в сокровищницу русской культуры поистине богатый и диковинный дар глубокой РУССКОЙ мысли.

Наша русская вина в том, что мы очень медленно раскрываем Розанова, не ищем его и подхода к нему, — чтобы ближе, лучше и внимательнее разглядеть его и через него ярче и тверже осветить свой РУССКИЙ путь...

Мы не ставим Розанова в ряд с кем бы то ни было из русских мыслителей, не вплетаем его имя и в жемчужную нить наших славянофилов, полной мерой взвесивших и определивших этот наш русский путь. Розанов по духу своему, по своему душевному настроению и по своим умственным озарениям был очень близок ко всем им и, в частности, особенно к Достоевскому. И входил в плеяду именно этих звезд, но горел Розанов настолько особо, и свет его звезды настолько своеобразен и силен, что он невольно выделяется из всех своей феноменальной индивидуальностью, находясь как бы «на отлете» от них, но крепко и природно пребывая в общей орбите подлинно русской даровитости и подлинно русского мировосприятия, до конца сохранивших свою чистоту — в своей независимости.

Из того немногого, скупого и беглого, что приведено нами РОЗАНОВСКОГО, читатель видит, как много у Розанова ПОУЧИТЕЛЬНОГО для всех нас, русских людей, верящих в Россию и любящих ее, религиозно- и государственно-историческую. Но и правые, и левые держали Розанова «за железным занавесом», не давая ему хода в широкие круги русского общества. Правые «вели» себя так потому, что не охватывали его в целом и потому не понимали его, — и потому не видели в Розанове того источника живой воды, который помог бы им лучше ориентироваться в судьбах русской истории и определить полнее дух, объем и направление своей работы.

Розанова читали, «как всех читают». Но Розанов не для чтения, а для воспитания — умственного и душевного. ТОЛЬКО читающие Розанова проходили мимо него теплопрохладными и в русской жизни пропадали для России...

Левые держали и держат Розанова «за железным занавесом» из-за вполне определенной неприязни к нему. Розанов — не их поля ягода. В нем, как и во всем исторически русском, они усматривали и «выпирали» наружу только одно «темное» и «отрицательное» и заведомо малозначашее и совсем НЕ-характерное для Розанова и тут же смаковали все то «корявое», что так «царапало» в Розанове правых. И представляли его «публике» скорее «своим», чем «чужим». В общем, буквально сбивали у своих читателей мозги набекрень.

Левые боялись Розанова, они понимали его русскую громадность, — громадность его авторитетной, бесспорной и острой мысли. Они прекрасно сознавали, что широкое раскрытие этой громадности грозило их посягательствам и потому всегда держали и держат Розанова в тени, на отшибе от «ведущей элиты», в нарочитом умалении розановского дарования, розановского значения для России, для борьбы за Россию и не только за нее...

Закончим мы свою книгу выдержкой из статьи Э. Ф. Голлербаха, напечатанной в «Летописи Дома литераторов» № 8—9 от 25 февраля 1922 года (Петроград).

Вот что пишет Голлербах:

Предсмертные дни В. В. Розанова были сплошной осанной Христу. Телесные муки не могли заглушить в нем радости духовной, — поцелуемся во имя воскресшего Христа. Христос Воскресе! Как радостно, как хорошо!.. Со мной происходят действительно чудеса, а что за чудеса, — расскажу потом когда-нибудь... Перед самой смертью страдания утихли. Он четыре раза причащался по собственному желанию, — один раз соборовался, три раза над ним читали отходную, во время которой он скончался без мучений, спокойно и благостно. —

22 января по ст. стилю, в час дня, 1919 года, в Сергиевом Посаде, — под Москвой.

Н. А. Бердяев

САМОПОЗНАНИЕ <фрагмент>



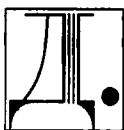
В. Розанов — один из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни встречать. Это настоящий уникум. В нем были типические русские черты, и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского и что в нем было что-то похожее на Феодора Павловича Карамазова, ставшего писателем. По внешности, удивительной внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил пришепывая и приплывая. Самые поразительные мысли он иногда говорил вам на ухо, приплывая. Я, впрочем, не задаюсь целью писать воспоминания. Хочу отметить лишь значение встречи с Розановым в моей внутренней истории. Читал я Розанова с наслаждением. Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе. Это настоящая магия слова. Мысли его очень теряли, когда вы их излагали своими словами. Ко мне лично Розанов относился очень хорошо, я думаю, что он меня любил. Он часто называл меня Адонисом, а иногда называл барином, при этом говорил мне «ты». О моей книге «Смысл творчества» Розанов написал четырнадцать статей. Он разом и очень восхищался моей книгой и очень нападал на нее, усматривая в ней западный дух. Но никто не уделял мне столько внимания. Наши мирозерцания и особенно наши мироощущения принадлежали к полярно противоположным типам. Я очень ценил розановскую критику исторического христианства, обличения лицемерия христианства в проблеме пола. Но в остром столкновении Розанова с христианством я был на стороне христианства, потому что это значило для меня быть на сторо-



не личности против рода, свободы духа против объективированной магии плоти, в которой тонет образ человека. Розанов был врагом не церкви, а самого Христа, который заворожил мир красотой смерти. В церкви ему многое нравилось. В церкви было много плоти, много плотской теплоты. Он говорил, что восковую свечечку предпочитает Богу: свечечка конкретно-чувственна, Бог же отвлеченен. Он себя чувствовал хорошо, когда у него за ужином сидело несколько священников, когда на столе была огромная традиционная рыба. Без духовных лиц, которые почти ничего не понимали в его проблематике, ему было скучно. Розанов подтверждал, что в церкви было не недостаточно, а слишком много плоти. Его это радовало, меня же это отталкивало. Когда по моей инициативе было основано в Петербурге Религиозно-философское общество, то на первом собрании я прочел доклад «Христос и мир», направленный против замечательной статьи Розанова «Об Иисусе Сладчайшем и о горьких плодах мира». Это не нарушило наших добрых отношений. Он очень любил Лидию. За месяц до смерти и в разгар коммунистической революции Розанов был у нас в Москве и даже ночевал у нас. Он производил тяжелое впечатление, заговаривался, но временами был блестящ. Он сказал мне на ухо: «Я молюсь Богу, но не вашему, а Озирису, Озирису». Розанов производил впечатление человека, который постоянно меняет свои взгляды, противоречит себе, приспосаблиется. Но я думаю, что он всегда оставался самим собой и в главном никогда не менялся. В его писаниях было что-то расслабляющее и разлагающее. Он много способствовал увлечению проблемой пола. Я как-то написал о нем статью «О вечно-бабьем в русской душе». Влияние Розанова противоположно всякому закалу души. Но он остается одним из самых замечательных у нас явлений, одним из величайших русских писателей, хотя и испорченный газетами. На его проблематику не так легко ответить защитникам ортодоксии. Он по истокам своим принадлежал к консервативным кругам, но нанес им тяжкий удар. Впрочем, я заметил, что правые православные предпочитали В. Розанова Вл. Соловьеву и многое ему прощали. Розанов мыслил не логически, а физиологически. По всему существу его была разлита мистическая чувственность. У него были замечательные интуиции об юдаизме и язычестве. Но уровень его знаний по истории религии не был особенно высок, как и вообще у людей того времени, которые мало считались с достижениями науки в этой области. Вспоминаю о Розанове с теплым чувством. Это была одна из самых значительных встреч моих в петербургской атмосфере.

А. Н. Бенуа

КРУЖОК МЕРЕЖКОВСКИХ. В. В. РОЗАНОВ



Философову целиком принадлежит честь создания в «Мире Искусства» отдела, посвященного вопросам философического и религиозно-философского порядка; он же всячески стремился этот отдел расширить, что происходило не без сопротивления со стороны прочих членов редакции, включая сюда и Дягилева. С другой стороны, было бы ошибкой считать, что этот отдел возник исключительно по личному желанию Философова, и еще большей ошибкой, что тут действовало какое-либо угодение известному кругу публики, что этот отдел не отвечал душевным запросам многих из нас, в том числе меня, Бакста и Нувеля. Мы все были в те годы мучительно заинтересованы загадкой бытия и искали разгадку ее в религии и в общении с людьми, посвятившими себя подобным же поискам. Отсюда получилось привлечение в сотрудничество по журналу четы Мережковских, Минского, Перцова, Шестова, Тернавцева и в особенности Розанова; отсюда же и образование «Религиозно-философского общества», которого названные лица (и я в их числе) были членами-основателями и собрания которого стали сразу привлекать к себе не только самых разнородных лиц из «мирян», но и многих духовных. То была пора, когда в православном духовенстве стало намечаться стремление к известному обновлению и к освобождению от гнетущего верноподданничества и от притупляющей формалистики. Именно с целью войти в контакт с духовными пастырями и в надежде, что это сближение поможет нам во многом (и в самом главном) разобраться, были предприняты шаги, среди которых одним из самых важных, казалось нам, было личное знакомство с петербургским митрополитом Антонием.

Испросив через Тернавцева (состоявшего на службе в Святейшем Синоде) аудиенцию, мы в один прекрасный вечер и отправились небольшой группой в Лавру, где наша разношерстная и для тех мест весьма необычная компания была принята с видимым любопытством. Участвовали в этой поездке супруги Мережковские, Тернавцев, Минский, Розанов, Философов, Бакст и я. Д. С. Мережковский и Минский изложили его высокопреосвященству наши вожделения и надежды, и главную среди них надежду на то, что духовные пастыри не откажутся принять участие в наших беседах. Запомнилось, как, между прочим, до поездки обсуждался вопрос, подходить или не подходить под благословение — и как это производить, лобзать или не лобзать руку иерея, а после аудиенции более всего разговору было о поразившем нас белом клобуке с бриллиантовым крестом и о красоте и величественно ласковой осанке митрополита Антония. В общем, все сошло как нельзя лучше. Митрополит обещал свою поддержку, и возвращались мы из Лавры в том приподнятом настроении, в котором полагается быть после одержанной победы или после выдержанного экзамена. Отмечу еще, что в нашей группе двое были евреи (Минский и Бакст), один «определенно жидовствующий» — В. В. Розанов, один католик — я. Впрочем, ни я, ни Бакст в течение всей беседы не открывали рта или, вернее, открывали его только для того, чтобы отпивать превосходного чаю из тяжелых граненых стаканов и закусывать разными сдобными кренделями, сайками и плюшками. Зато, пока другие были заняты разговором, мы с особым любопытством разглядывали все вокруг нас. Митрополит был один, без каких-либо сопровождающих.

Происходило это наше «сретение» зимой, при свете довольно тусклых, по углам горевших ламп. Его высокопреосвященство принимал нас в просторной гостиной митрополичьих покоев, куда нас провел молодой монах по довольно внушительной парадной лестнице, через большой зал в два света, сохранивший декорозу XVIII в., и через ряд ужасно неудобных и типично «казенных» хором. Митрополит занял место в углу тяжелого дивана красного дерева. Мы расположились по массивным, неповоротливым креслам, обступавшим овальный стол, накрытый цветной скатертью. По натертым до зеркального блеска полам лежали узкие половички-дорожки, большие окна были заставлены тропическими растениями, что усиливало впечатление старинности и провинциальности. Не помню, были ли по стенам картины, но возможно, что где-то висел портрет Государя, а также развешаны изображения предшественников митрополита Антония.

Первые собрания нового общества, возникшего при благосклонном «попустительстве» властей (после полученного в установленном

порядке утверждения), происходили в помещении имп. Географического общества, находившегося тогда в доме Министерства народного просвещения на Театральной улице — насупротив Театрального училища. Под наши собеседования была отведена довольно большая и узкая комната, во всю длину занятая столом, покрытым зеленым сукном. По стенам висели карты, а в углу на мольберте чернела большая квадратная доска — вроде тех, что ставятся в школьных классах. Комната за этим «залом заседаний» служила буфетом, где можно было получить во время перерыва чай и бутерброды, а в двух или трех комнатах, предшествующих залу заседаний, происходил обмен мнений в менее официальном тоне. Впрочем, и самые доклады не всегда носили строго формальный характер. Неизменно «смирненную строгость при любовном внимании» выражали два епископа, ставшие членами «Религиозно-философского общества»; зато среди других участников и особенно среди случайных гостей попадались и весьма придирчивые, иногда и вовсе бестактные «забияки». Тут можно вспомнить еще раз и о выступлении Висеньки, мишенью коего были обыкновенно попы.

Сначала (пожалуй, весь первый год) эти собрания на Театральной улице, возбуждавшие сразу общественный интерес, были очень «содержательны», и за этот период они получили для многих участников большое значение. Однако с течением времени они стали приобретать тот характер суесловных говорилен, на который обречены всякие человеческие общения, хотя бы основанные с самыми благими намерениями. Мне лично становилось все более и более ясным, что тут, как и во всем на свете, дело складывается не без участия Князя Мира сего — иначе говоря, не без вмешательства какой-то силы мрака, всегда норовящей ввести души людские в соблазн и отвлечь их от всего подлинно-возвышающего. Каково же было мое изумление, когда я удостоверился в *«реальном» присутствии* бесовского начала!

Дело в том, что из-за помянутой черной классной доски в углу зала выглядывали два острых торчка, похожие на рога. Меня это заинтересовало, но доска находилась на другом конце зала, и почему-то я не сразу отправился взглянуть, что это такое. Все же я, наконец, через несколько недель пробрался и заглянул за доску, и тут меня обуял настоящий ужас! Передо мной стояло гигантского роста чудовище, похожее на тех чертей, которые меня преследовали в моих детских кошмарах и какие были изображены на лубочных картинках, представлявших «Страшный Суд». У этой гадины были настоящие волосы на голове и на бороде, а все тело было покрыто густой черной шерстью. Из оскаленной пасти кровавого цвета торчали длинные загнутые клыки, пальцы рук и ног были вооружены колючими

когтями, а на голове торчали длинные рога. Страшнее же всего были выпученные глаза идола, с их свирепым, безжалостным выражением. Это был идол, вероятно когда-то привезенный из глубокой Монголии или Тибета какой-либо научной экспедицией Географического общества. Может показаться странным, что я придал такое значение своему «открытию», но в тот момент я действительно испугался, исполнился ужаса, не лишенного мистического оттенка. Чудовищное безобразие этого дьявола было передано прямо-таки с гениальной силой, а нахождение идола в данном помещении в качестве какого-то притаившегося наблюдателя — показалось мне до жути *уместным*. Оно наглядно символизировало то самое, что мне начинало мерещиться, выслушивая длинные, безнадежно топчущиеся на месте прения и присутствуя при схватках, в которых было меньше и меньше искания истины и все больше и больше самого суетного софистского тщеславия. Удивительно, что на моих друзей этот дьявол не произвел того же впечатления, и только Д. С. Мережковский, тоже начинавший тогда переживать известное разочарование в том, что, согласно его замыслам, должно было открыть путь к перерождению русской религиозной жизни, — только он, когда я его свел за доску, на минуту выразил крайнее изумление, а затем, привычным жестом пригладив бороду, криво улыбнулся и чуть ли не радостно воскликнул: «Ну, разумеется! Это — *он!* Надо было ожидать, нечего и удивляться...»

* * *

Постепенно увлечение нашей основной группой Религиозно-философскими собраниями стало ослабевать, и интерес к тому, что говорилось (именно говорилось) в собраниях, — падать. Но интерес к самим обсуждавшимся вопросам едва ли не становился при этом еще более жгучим. Было сделано и несколько попыток каким-то «более домашним», более интимным образом войти в религиозное общение как между нами самими, так и с церковными людьми. Из последних на меня особенно сильное впечатление произвел архимандрит Антонин из Александро-Невской лавры, которого как-то вечером привел к Мережковским Тернавцев. Впечатление это было как внешнего, так и внутреннего порядка. Поражал громадный рост, поражало прямо-таки демоническое лицо, пронизывающие глаза и черная, как смоль, не очень густая борода. Но не менее меня поразило и то, что стал изрекать этот иерей с непонятной откровенностью и прямо-таки цинизмом.

Память не сохранила подробностей, но главной темой его беседы было общение полов и греховность этого общения; и вот Анто-

нин не только не вдался в какое-либо превозношение аскетизма, а, напротив, вовсе не отрицал неизбежности такого общения и всяких форм его. Это вовсе не преподносилось с оттенком какого-либо тривиального юмора, строгий тон и оттенок чего-то даже научного не покидали этого нашего неожиданного осведомителя. Естественно, вся личность Антонина в высшей степени заинтересовала тогда наш кружок, однако мне кажется, что его посещение так и осталось единственным.

Из попыток найти собственные, независимые от Церкви, пути к духовному обновлению мне особенно запомнилась одна. Это происходило опять-таки у Мережковских. Дмитрий Сергеевич предложил вместе читать Евангелие и, получив общее согласие, тут же, не откладывая, стал нам читать случайно открывшееся место. Однако, хоть читал он с проникновенным чувством и даже не без умиления, хоть читаемое производило впечатление неоспоримой подлинности, за которой мы и обратились к Священной книге, подобающего настроения не получилось, и потому показалось совершенно уместным и своевременным, когда «Зиночка» самым обывательским тоном, нарочно подчеркивая эту обывательщину, воскликнула: «Лучше пойдемте пить чай». Замечательно, что и Дмитрий Сергеевич сразу согласился и выбыл из настроения («навинченного» надуманного?); лишь Философов остался и после того в убеждении, что следовало продолжать, что на этом пути мы бы наконец все же обрели нечто истинное. Философов был вообще тогда убежден, что и под историческим христианством лежит *насильственное* воздействие над собой, известное самовнушение группы лиц, что все дело в создании известной *традиционности*, хотя бы «источник традиции» и не обладал полнотой подлинности и убедительности. Вокруг как раз этого его убеждения у нас велись самые горячие споры.

Припомню и еще один аналогичный случай. То было тоже нечто вроде «форсирования благодати», но эта попытка имела уже определенно кощунственный уклон и грозила привести к какому-либо «безобразию», если не к постыдному юродству и к кликушеству. Собрались мы тогда у милейшего Петра Петровича Перцова, в его отдельной комнате. Снова в тот вечер Философов стал настаивать на необходимости произведения «реальных опытов» и остановился на символическом значении того момента, когда Спаситель, приступая к последней Вечере, пожелал омыть ноги своим ученикам. Супруги Мережковские стали ему вторить, превознося этот «подвиг унижения и служения» Христа, и тут же предложили приступить к подобному же омовению. Очень знаменательным показался мне тогда тот энтузиазм, с которым за это предложение уцепился Розанов. Глаза

его заискрились, и он поспешно «залопотал»: «Да, непременно, непременно это *надо* сделать, и надо сделать сейчас же». Я не мог при этом не заподозрить Василия Васильевича в порочном любопытстве. Ведь то, что среди нас была женщина, и в те времена все еще очень привлекательная, «очень соблазнительная Ева», должно было толкать Розанова на подобное рвение. Именно ее босые ноги, ее «белые ножки» ему захотелось увидеть, а может быть, и омыть. А что из этого получилось бы далее, никто не мог предвидеть. Призрак какого-то «свального греха», во всяком случае, промелькнул над нами, но спас положение более трезвый элемент — я да Перцов (может быть, и Нувель, если только он тогда был среди нас). Розанов и после того долго не мог успокоиться и все корил нас за наш скептицизм, за то, что мы своими сомнениями отогнали тогда какое-то наитие свыше.

В заключение приведу еще один случай, аналогичный с моим «открытием дьявола» в помещении Географического общества. Этот случай характерен для наших тогдашних настроений, но, может быть, и кроме того, здесь можно увидеть не простую игру случая, а нечто, над чем следовало бы призадуматься. Сидели мы в тот вечер в просторном, но довольно пустынном кабинете Дмитрия Сергеевича, я и Розанов на оттоманке, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна поодаль от нас, на креслах, а Александр Блок (тогда еще студент, как раз незадолго до того появившийся на нашем горизонте) — на полу, у самого топящегося камина. Беседа и на сей раз шла на религиозные темы, и дошли мы здесь до *самой важной* — а именно до веры и до «движущей горами» силы ее. Очень вдохновенно говорил сам Дмитрий Сергеевич, тогда как Василий Васильевич только кивал головой и поддакивал. Вообще же настроение у всех было «благое», спокойное и ни в малейшей степени не истерическое. И вот, когда Мережковский вознесся до высшей патетичности и, вскочив, стал уверять, что и сейчас возможны величайшие чудеса, стоило бы, например, повелеть с настоящей верой среди темной ночи: «Да будет свет», то свет и явился бы. Однако, *в самый этот миг*, и не успел Дмитрий Сергеевич договорить фразу, как во всей квартире... погасло электричество и наступил мрак. Все были до такой степени поражены таким совпадением и, говоря по правде, до того напуганы, что минуты две прошли в полном оцепенении, едва только нарушаемом тихими восклицаниями Розанова: «С нами крестная сила, с нами крестная сила!», причем при отблеске очага я видел, как Василий Васильевич быстро-быстро крестится. Когда же свет снова сам собой зажегся, то Дмитрий Сергеевич произнес только: «Это знамение», Розанов заторопился уходить, а Зинаида Николаевна, верная себе, попробовала все повернуть в шутку и даже высмеяла нас за испуг.

Скажу еще несколько слов о В. В. Розанове, который в те годы занимал в нашем кружке обособленное и очень значительное место. Он притягивал к себе многообразием и глубиной своих прозрений, а также своим непрерывным любопытством, обращенным на всевозможные предметы. Только к чистому искусству, к истории искусства, и в частности к живописи (и, пожалуй, еще — к музыке), он обнаруживал равнодушие и до странности малую осведомленность. Превосходным памятником этого нашего общего увлечения Розановым (он был на много лет старше старшего среди нас) остается портрет, рисованный пастелью Бакстом (ныне находящийся в Третьяковской галерее в Москве). Увлечение же это имело в данном случае еще то специальное основание, что Левушка, будучи убежденным евреем, особенно ценил в Розанове его *культ* еврейства. Бакст был человеком далеко не безгрешным, а в некоторых смыслах даже порочным, но он все же носил в себе реальное «ощущение бога». Что же касается до еврейства, то отношение Л. Бакста к своему народу было таковым, что его вполне можно было назвать «еврейским патриотом». Забегая вперед, укажу, что только человек с такими душевными переживаниями, совершив ужасный в собственных глазах поступок отречения от веры своих отцов, мог затем до такой степени трагично переживать свое отступничество и даже впасть в состояние, близкое к помешательству...

Всего милее Василий Васильевич бывал у себя дома. Он был большим домоседом и вечера любил проводить у себя за чайным столом, который накрывался у них в гостиной, ничем изящным не отличавшейся, да и вся его квартира была самая обыденная и меблированная только самым необходимым. К этому почти ежевечернему чаю собирались постоянные и случайные, «разовые» гости, и все усаживались рядышком по обеим сторонам хозяина, занимавшего среднее место в конце стола, насупротив самовара. К чаю подавались какие-то незатейливые печения: калачи, сухари и т. п. Разливала чай жена Василия Васильевича, разносила же стаканы его падчерица — девица рослая, хорошо сложенная, но, несмотря на правильные черты лица, несколько не привлекательная. Мы ее про себя прозвали «барашком», и действительно, нечто овечье, что было в ее выражении, подчеркивалось курчавыми светлыми волосами, частью заплетенными в косу, положенную кольцом вокруг головы. Обеих этих женщин Розанов ценил безмерно, и это свое отношение к ним постоянно выражал вслух, гордясь ими и цитируя их слова и мнения, хотя бы и самые обыденные. Злые языки утверждали, что он неравнодушен к падчерице, но, во всяком случае, он был «по уши влюблен» в

жену — женщину немолодую, некрасивую и, вообще на посторонний глаз, лишенную всего того, что в наше время получило кличку *sex appeal*. Для него же она представляла какую-то квинтэссенцию женственности и женской прелести. Мало того, движимый своим супружеским энтузиазмом, Розанов не боялся разных нескромных определений и описаний, основанных на его супружеском опыте и служивших подтверждением его эротических теорий, причем сплетал свою изощренно тонкую наблюдательность с почти ребяческой наивностью. Редкие собеседования с ним обходились без сообщений каких-либо подобных новых «открытий и наблюдений» психологического и физиологического порядка, причем, однако, это делалось без тени легкомысленной или пошловатой скабрёзности — вроде той, что царит в нецеломудренных анекдотах или в остротах, имеющих ход в мужской компании. Манера его касаться этих довольно-таки скользких тем исключала всякую их «неприличность» и в то же время оставалась вдали от какого-либо «научного подхода», чисто материалистического, «базаровского» оттенка. Розанов приходил в сильнейшее волнение, если он встречал отклик в собеседнике, и, напротив, принимался остро ненавидеть и презирать тех, кто оказывался не одаренным желательной ему чуткостью, особенно что касается именно такой Афродитиной области.



¹ Весной 1901 г. у нас родился сын.



ными, впрочем, всегда яркостью и заразной вдохновенностью. Чего в нем, во всяком случае, не было ни в малейшей степени, это какой-либо схоластичности или расположения к жонглированию парадоксами. Для него Ветхий Завет (и даже самые ритуальные или законодательные его части) представлял собой неиссякаемые источники животворящей силы. Моментами в этом проглядывало даже нечто суеверное. А пожалуй, дело обстояло и так: в душе его жила какая-то своя Библия, свой Завет, и из этой своей *лигной* сокровищницы он и черпал свои наиболее убедительные доводы, свои чудесные прогнозы, а также свои иногда довольно лукавые и язвительные возражения. Спорить с ним было так же трудно, как трудно было спорить ученикам Сократа со своим учителем. Я, впрочем, лично с ним и не спорил и всегда предпочитал «его слушать»; напротив, охотно вступали с ним в спор Зиновья Гиппиус, П. П. Перцов, Тернавцев. Отмечу еще, что Розанов, привлеченный в сотрудники «Мира Искусства» Философовым, пользовался ограниченным расположением последнего, а между ним и Дягилевым даже существовала определенная неприязнь. Ведь Сергей вообще ненавидел всякое «мудрение»; он питал «органическое отвращение» к философии; в Религиозно-философские собрания он никогда не заглядывал¹. Со своей стороны, и у Розанова было какое-то «настороженное» отношение к Дягилеву. Дягилев должен был действовать ему на нервы всем своим великолепием, элегантностью, «победительским видом монденного льва». Области светскости Розанов был абсолютно чужд, и, в свою очередь, Дягилев если и допускал в свое окружение лиц, ничего общего с «мондом» не имеющих, а то и самых подлинных плебеев, то все же с чисто аристократической брезгливостью он относился к тем, на которых быт наложил несмыslaемую печать «мещанства». А надо сознаться, что именно эту печать Василий Васильевич на себе носил — что в моих глазах, разумеется, не обладало ни малейшим оттенком какой-либо срамоты.

Я только что упомянул о равнодушии Розанова к пластическим художествам и об его невежестве в этой области. Имена первейших художников: Рафаэля, Микеланджело, Леонардо, Рембрандта и т. д. — были ему, разумеется, знакомы, и он имел некоторое представление об их творчестве. Но он до странности никогда не выражал живого интереса к искусству вообще и в частности к искусству позднейших эпох, разделяя, впрочем, эту черту почти со всеми лите-



¹ Напротив, постоянной посетительницей их была его мачеха — добрейшая и умнейшая Елена Валерьяновна, урожденная Панаева. Свою родную мать он не знал, и Елена Валерьяновна вполне ее ему заменяла. Зато и он ее любил, как родную.



раторами, с которыми меня сводила жизнь¹. Он был способен в одинаковой степени заинтересоваться какой-либо пошленькой сценкой в «Ниве», как и какой-либо первоклассной картиной, лишь бы в том и другом случае он находил что-либо соответствующее какой-либо занимавшей его в тот момент идее.

При всем том Розанову не была чужда психология коллекционера, но область его собирательства была совершенно обособленная. Он коллекционировал античные монеты и находил беспредельное наслаждение в их разглядывании, видя и в профилях всяких царей и императоров, и в символических фигурах, украшающих обратную сторону, все новые и новые свидетельства о когда-то господствовавших идеях и устремлениях. Перебирая эти серебряные кружочки, хранившиеся у него в образцовом порядке, давая на них играть отблеску лампы, он получал и чисто эстетические радости, причем ему случилось говорить прелестные слова как про технику, так и про красоту лепки. Но это была, повторяю, единственная область искусства, доступная Розанову. Даже в особенно милом его сердцу Египте он оставался скорее безразличным в отношении могучей архитектуры древних египтян и до красоты всей их формальной системы, выражавшейся в барельефах и в стенописи. Напротив, любопытство Розанова было в высшей степени возбуждено всем, что он вычитывал таинственного в барельефах и в иероглифах, свидетельствующих о верованиях египтян, обнаруживая при этом свой дар проникания в самые сокровенные их тайны.

Тот род дружбы, который завязался между мной и Василием Васильевичем около 1900 г., не продолжался долго и не возобновился после того, что я с 1905 по 1907 г. два с чем-то года провел вне Петербурга. Но все же я сохранил о нем память, не лишенную нежности и глубокого почитания, да и он как будто не забыл меня, хотя с момента войны мы более никогда не встречались. Свидетельство об этом я нашел (к своей большой радости) в одной из его удивительных статей, которые каким-то необъяснимым чудом стали появляться в виде небольших тетрадей в начале 1920-х годов. Кто в те гнуснейшие времена был еще способен заниматься не одними материальными и пищевыми вопросами и не был окончательно деморализован ужасами революционного опыта — ждали с нетерпением очередного выпуска этой хроники дней и размышлений. Живя в тяжелых условиях в посаде Троице-Сергиевой лавры, Розанов находил в себе силы ин-



¹ И у Мережковского подход к одному из его главных героев его исторической трилогии — Леонардо — был чисто литературно-философский, и нас, художников, всегда как-то корбило то, что он видел, что «высмотрел» в творчестве Винчи.



тересоваться самыми разнообразными вопросами и с удивительным просветлением обсуждать их, что хоть и делалось в тайне, однако было и представляло значительную опасность. Правда, в этих эскизах не было ничего такого, что в глазах советского фанатизма могло сойти за «крамольную пропаганду», однако, самый факт столь независимого философствования, вне всякой предписанной русским людям доктрины, а также факт полного индифферентизма к достижениям реформаторов не могли вызывать в верхах иного отношения, нежели самого обостренного подозрения. К тому же Розанов должен был быть у большевиков вообще на плохом счету уже в качестве постоянного сотрудника «Нового Времени».

В. Р. Ховин

РОЗАНОВ УМЕР

Что вещам «больно», это есть постоянное мое страдание за всю жизнь. Через это «больно» проходит нежность... Мне иногда кажется, что я вечно бы с людьми «воровал у Бога»... не то золотые яблоки, не то счастье, вот это убавление грусти, вот это убавление боли, вот эту ужасную смертность и «окончателность людей», что все «кончается» и все «не вечно».

В. Розанов

Папа умер... приезжайте.

Из телеграммы



ногословный, велеречивый некролог?

Словесные венки на гроб умершего?

Или клятвы верности заветам его над только что засыпанной могилой?

Ну, как же все это не нужно над могилой Василия Розанова.

Так и должно было случиться, что умер он такой «домашней» смертью и что тело его повезли на деревенских дорогах, и что могила его не на литературных мостках столицы, а на одиноком кладбище Черниговского монастыря, в снежных сугробах Сергиева Посада.

Так должно было случиться...

И так случилось.

Случилось у стен радостно расцвеченной, расписной Троице-Сергиевой лавры, дряхлого памятника старой Руси, гордо возносящего свои золотые купола над бесплодными, увы, песками нашей «Новой», позором немощи испепеленной, России.



Здесь, у этих стен, притулился Розанов, одинокий, с вздыбленной совестью, безудержный человек.

Здесь, в крохотном Посаде, в таком провинциальном домике, по-прежнему «сидел у окна» он, мистик домашнего уюта, домашнего тепла, и смотрел вдаль за каменную ограду Лавры, поверх золоченых куполов ее, смотрел, исходя своими полудумами, полумыслями о человеке и родине.

И по-прежнему тихо и тяжело вздыхал.

И какой бы это ересью не показалось, но Розанов, он один, единственный из современников, был единственной совестью нашей, совестью современности.

Пренебрег веками создаваемой благоустроенностью душ наших и морали нашей, пренебрег всякими покровами и всякой мишурой какой бы то ни было фразеологии, презрел косметику, коей так старательно украшала нас фальшивая в своей выпренности и ходульная в своей изощренности многовековая цивилизация наша, оголился донельзя, так, как никто до него и...

заболел.

Тяжело, мучительно заболел тяжелой и мучительной болезнью совести. И, заболев, с настойчивостью и беспощадностью маньяка, с рвением и непримиримостью религиозного безумца, со словами откровений, достойными его гения, стал всенародно каяться в греховности человеческого существа своего.

...Каяться в греховности своей и так же настойчиво, так же беспощадно у п о р с т о в а т ь в ней.

О, это было ужасное, отчаянное покаяние. И современники не выдержали: одни зажмурили глаза, другие боязливо обходили такое страшное и такое странное по неожиданности своей, по всей обстановке своей, место казни.

.....

Умер он, успокоенный, в тихом мерцании лампад, под благовест многокупольной, золотом расцвеченной Лавры.

Умер так, как должно было только мечтаться ему раньше, но не верилось, что э т о б у д е т т а к .

Умер и, как всегда откровенный в противоречиях, даже самой смертью своей, такой христианнейшей смертью, впал в последнее на своем жизненном пути противоречие.

Но те,

кто любил Розанова, именно любил, а не ценил как мыслителя, или как философа, или как писателя (недаром такая любовь была страшна ему самому);

кто любил его, интимнейшего из нишующих и писавших, любил особой, нежной, «домашней», что ли, любовью;

кто за каждым словом его и за каждым поступком его, каковы бы они ни были, различал едва слышимый часто, но всегда такой большой вздох, — вздох о человеке, брошенном так безжалостно, так сиротливо в этот огромный неуютный мир;

те, кто бы они ни были и как бы и во что ни верили, должны, — по-человечески должны, — радоваться этому последнему противоречию его жизни...

Должны радоваться такой успокоенной смерти, и этому умиротворяющему мерцанию лампад, и этому торжественному благовесту церковному.

Сергиев Посад

КОММЕНТАРИИ

З. Н. Гиппиус

ЗАДУМЧИВЫЙ СТРАННИК. О РОЗАНОВЕ

Впервые: Окно. Париж, 1923. № 3. С. 271—335. Печатается по кн.: *Гиппиус З. Н. Живые лица* / Под общим руководством проф. Е. А. Ляцкого. Прага: Изд-во «Пламя», 1925. Вып. 2. С. 9—92.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — писательница. Познакомилась с Розановым в 1897 г. Долгие годы зная Гиппиус и ее мужа Д. С. Мережковского, работая с ними в редакции журнала «Новый Путь» (1903—1904), Розанов воспринимал их по-разному. В 1908 г. произошла размолвка Розанова с ними; в 1911 г. он писал: «Д. С. Мережковский совершенно не то, что З. Н. Гиппиус с ее “ядовитостями”: Мережковский вовсе без яда и без заразы». В 1914 г. Мережковский был одним из организаторов изгнания Розанова из Религиозно-философского общества. Перед смертью Розанов примирился с Мережковскими, и они высоко отзывались о его таланте.

- с. 13 *Клейкие листочки...* — из стихотворения А. С. Пушкина «Еще дуют холодные ветры...» (1828).

...служил в контроле. — В 1893—1899 гг. Розанов служил в Государственном контроле в Петербурге.

...наружность «мизерабельная»... — невзрачная (от фр. — *misérable*).

Перцов — фигура любопытная... — *Перцов Петр Петрович* (1868—1947) — поэт, публицист, критик, соредaktor З. Гиппиус и Д. Мережковского по журналу «Новый Путь».

- с. 14 *«Мир Искусства»* — иллюстрированный литературно-художественный журнал, издававшийся в Петербурге в 1899—1904 гг.

Дягилев, Философов, Бенуа, Бакст, Нувель и Нурок... — *Дягилев Сергей Павлович* (1872—1929) — крупнейший театральный и художественный деятель, издатель журнала «Мир Искусства»; организатор выставок русского искусства, «Русских сезонов» за границей (с 1907); создатель

Труппы русского балета за рубежом (1911–1929); умер в эмиграции; *Философов Дмитрий Владимирович* (1872–1940) — литературный и художественный критик и публицист; в 1900-х гг. заведовал литературной частью журнала «Мир Искусства»; с 1904 — редактор журнала «Новый Путь»; *Бенуа Александр Николаевич* (1870–1960) — русский художник, историк искусства, художественный критик; идеолог «Мира Искусства». С 1925 г. жил во Франции; *Бакст Лев Самойлович* (1866–1924) — живописец, театральный художник; *Нувель Вальтер Федорович* (1871–1949) — художник, музыкальный и театральный деятель, один из ведущих членов редакции журнала «Мир Искусства»; чиновник Министерства императорского двора; *Нурок Альфред Павлович* (1860–1919) — эстет и библиофил, знаток французской литературы, сотрудник «Мира Искусства».

Сологуб Федор Кузьмич (Тетерников; 1863–1927) — поэт, драматург, романист, переводчик, представитель старшего поколения русских символистов.

...на Шпалерную... — С июля 1899 до 1906 г. Розанов с семьей жил на Шпалерной ул., д. 39, кв. 4, где проходили розановские «воскресенья» и часто бывали Мережковский и Гиппиус. с. 15

«Сколько тайных слез украдкой...» — неточная цитата из «Казачьей колыбельной песни» (1840) М. Ю. Лермонтова. с. 16

Старик Суворин... — Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — издатель газеты «Новое Время».

...мысль Религиозно-философских собраний... — существовали в Петербурге в 1901–1903 гг. Первое собрание состоялось 29 ноября 1901 г. с. 17

Митрополит Антоний (в миру — Александр Васильевич Вадковский; 1846–1912) — церковный деятель, с 1898 г. — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. с. 18

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — ученый-правовед, публицист. В 1880–1905 гг. — обер-прокурор Синода.

Карташев Антон Владимирович (1875–1952) — профессор Духовной академии. Под влиянием Мережковских в 1917 г. порвал с церковными кругами; умер в эмиграции.

Тернавцев Валентин Александрович (1866–1940) — писатель-богослов, чиновник по особым поручениям при обер-прокуроре Синода, один из учредителей Религиозно-философского собрания. с. 20

Антонин — представитель так называемой «живой церкви», популярной в СССР в 20-е гг. (в миру — Александр Андреевич Грановский; 1865–1927). с. 21

Ефим Е. — *Егоров Е. А.* (1861–1935) — журналист, сотрудник газеты «Новое Время», секретарь Религиозно-философских собраний и журнала «Новый Путь».

...в Англию, во время войны, ездила... тройка... — В феврале 1916 г. в Англию ездила группа из шести журналистов: К. И. Чуковский (от «Нивы»), А. Н. Толстой (от «Русских Ведомостей»), В. И. Немирович-Данченко (от «Русского Слова»), В. Д. Набоков (от газеты «Речь»), А. А. Башмаков (от «Правительственного Вестника»), Е. А. Егоров (от «Нового Времени»). с. 22

- с. 22 Жена одного писателя петербургского. — А. П. Суслова-Розанова (1840—1918) — возлюбленная Достоевского, первая жена В. Розанова.
- с. 23 ...во время болезни... — С 1910 г. до конца жизни Варвара Дмитриевна была тяжело больна.
«Что Бог сотедел, того человек не разлугает». — Мф 19, 6.
- с. 25 «Гоголь и о. Матфей»... — Доклад Д. С. Мережковского, обсуждавшийся на 10-м и 11-м Религиозно-философских собраниях в апреле 1902 г. и напечатанный в «Новом Пути» (1903. № 3). Вошел в книгу: Мережковский Д. С. Гоголь: Творчество, жизнь и религия. СПб., 1909. Ч. 2.
«Мистическая роза на груди церкви». — С идеей Н. М. Минского «Мистическая роза — идеал девства» Розанов полемизировал на 16-м Религиозно-философском собрании (Новый Путь. 1903. № 10).
- с. 26 ...его любовнейшая статья о России. — Имеется в виду статья Розанова «Возле "русской идеи"»... в его книге «Среди художников» (1914).
- с. 27 Миква... — Описание этого религиозного обряда, связанного с погружением в воду, см. в «Уединенном» Розанова (2-е изд. Пг., 1916. С. 48—55). В первом издании книги в 1912 г. было сокращено цензурой.
...отрекись от отца, матери... — Пересказ Евангелия (Мф 10, 35).
Денница — здесь: Люцифер (Исх 14, 12).
- с. 28 Поэт и философ... — Вероятно, имеется в виду теоретик символизма поэт Л. Л. Эллис (Кобылинский; 1879—1947).
- с. 29 ...«долинами смертной тени». — Пс 22, 4.
- с. 30 Пирожков Михаил Васильевич (1867—1927) — петербургский издатель.
«В своем углу»... — Отдел под таким названием Розанов вел в журнале «Новый Путь» с № 2 1903 г.
- с. 31 «Религия страдающего Бога» — работа Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего Бога», печатавшаяся в «Новом Пути» в 1904 г.
Брюсов — ежемесячные статьи... — Брюсов печатал их в «Новом Пути» с № 1 за 1903 г.
- с. 32 Приносит... материал... — О «юдаизме» — серия статей Розанова под таким названием печаталась в «Новом Пути» (1903. № 7—12).
- с. 37 ...в «башне» Вяч. Иванова... — В «Башне» — петербургской квартире (Таврическая ул., д. 35) поэта и теоретика символизма Вяч. И. Иванова в 1905—1907 гг. проходили «Ивановские среды» — кружок, где формировались поэтика и мировоззрение «второго поколения символистов».
- с. 38 ...к «литературной» даме... — Людмиле Вилькиной (1873—1920), жене Н. Минского. Розанов написал предисловие к ее книге «Мой сад» (1906).
- с. 41 ...обвиняя его в «двурушничестве». — Имеется в виду статья П. Струве «В. В. Розанов — большой писатель с органическим пороком» (Русская Мысль. 1910. № 11. Отд. 2. С. 138—146), в которой параллельно приведены противоположные высказывания Розанова в «Новом Времени» и в «Русском Слове», где он печатался под псевдонимом В. Варварин.
Рел.-фил. общество... — Вместо Религиозно-философского собрания в 1907 г. в Петербурге было создано Религиозно-философское общество, отчеты которого печатались в 1908—1916 гг.
- с. 42 ...с ... привкусом «московского идеализма»... — Гиппиус имеет в виду философский кружок, сложившийся в 1911 г. в Москве при религиозно-

философском издательстве «Путь». Левое течение в нем представлено было Е. Н. Трубецким и Н. А. Бердяевым, а правое — П. А. Флоренским, В. Ф. Эрном, С. Н. Булгаковым («молодое славянофильство»).
П. Ф. — философ *Павел Александрович Флоренский* (1882—1937), близкий друг Розанова.

«Земщина» — газета, выходившая в Петербурге с 1909 по 1917 г. Розанов печатал в ней в 1913 г. статьи о «деле Бейлиса», собранные позднее в книге: *Розанов В. В. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови*. СПб., 1914. с. 44

...догь Розанова. монахиня, покончила самоубийством незадолго до смерти отца. — Вера Розанова (1896—1920) покончила с собой через год после смерти отца. с. 45–46

...встреча Розанова с войсками на Захарьевской улице. — Рассказ об этом содержится не в «Апокалипсисе нашего времени», а в последней главе книги Розанова «Война 1914 года и русское возрождение» (СПб., 1915). с. 46

...молодого писателя Х. ... — Речь идет о *Викторе Романовиче Ховине* (1891—1925), владельце книжного магазина «Книжный угол» в Петрограде и издателе одноименного журнала, где печатались последние статьи Розанова. с. 48

...в какой-то заграничной газете. — Речь идет о статье Э. Голлербаха «Последние дни Розанова» в берлинской газете «Накануне» (1923. № 42). с. 49

Наверное, писал он Горькому... — Розанов писал М. Горькому в декабре 1917 г. и последний раз 20 января 1919 г. (См.: *Розанов В. В. Мысли о литературе*. М., 1989. С. 523—524, 527—528).

В. Ф. Ходасевич

З. Н. ГИППИУС. «ЖИВЫЕ ЛИЦА»
(I и II т. Изд-во «Пламя». Прага, 1925)

Впервые: *Современные Записки*. Париж, 1925. Кн. 25. С. 533—541.
Печатается по кн.: *Ходасевич В. Собр. соч.*: В 4 т. М.: Согласие, 1996. Т. 2. С. 127—134.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — писатель, критик. В эмиграции с 1922 г. В 1926—1927 гг. был близок к Мережковским, принимал участие в созданном ими литературном обществе «Зеленая Лампа».

...З. Н. Гиппиус написала Горькому письмо... — Письмо это хранится в Архиве А. М. Горького (КГ-П, 20-6-1), о Розанове в нем говорится: «Совершенно также уверена, что слух о расстреле В. В. Розанова должен был произвести на вас тягостное впечатление: никакой революции никакой страны не может принести чести отнятие жизни у своих талантливых писателей, да еще стариков, отошедших от всякого рода деятельности. Как бы мы ни относились к человеку Розанову и его “убеждениям” (а, я с. 56

думаю, мы тут приблизительно совпадаем) — вы не будете отрицать, что это был замечательный, своеобразный русский талант».

- с. 57 *...догь Розанова...* — Речь идет о Надежде Розановой (1900—1956), которая вела переписку Розанова во время его болезни в конце 1918 — начале 1919 г. и писала М. Горькому.

Г. В. Адамович

«АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ» В. РОЗАНОВА

Впервые: Звено. Париж, 1927. 16 января. № 207. С. 1—2.

Печатается по кн.: Адамович Г. Собр. соч. Литературные беседы. СПб.: Алетейя, 1998. Кн. 2 («Звено»: 1926—1928).

Адамович *Георгий Викторович* (1892—1972) — поэт, критик. В эмиграции с 1923 г. В альманахе «Мосты» (Мюнхен, 1970. № 15) была опубликована заметка Адамовича «В. В. Розанов» в цикле «Из старых тетрадей».

- с. 63 «*Да сияют эти образа вечно!*» — Розанов В. В. Люди лунного света. Метафизика христианства. СПб., 1913. С. XI.

М. Курдюмов (М. А. Каллаш)

О РОЗАНОВЕ

Впервые: Курдюмов М. О Розанове. Париж: YMCA-Press, 1929. 90 с. Печатается по первой публикации.

Курдюмов М. (наст. имя и фам. Мария Александровна Каллаш, урожд. Новикова; 1886—1954) — философ, литературовед. Эмигрировала во Францию в начале 1920-х гг. Под псевдонимом Гарриис написала рецензию на розановское «Уединенное» (Утро России. 1912. 15 марта). Под своей фамилией опубликовала статью о Розанове «Карамазовщина» (Голос Москвы. 1914, 11 февраля), а под псевдонимом М. Курдюмов — статью «Уединенный (О Розанове)» (Вечернее Время. Париж, 1924. 13 июля).

- с. 69 *Афонька* — начальник Розанова по Государственному контролю, *Афанасий Васильевич Васильев* (1851—1929), публицист и поэт.
Шперк Федор Эдуардович (1872—1897) — философ, друг Розанова.
- с. 71 *Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич* (1859—1927) — один из организаторов в 1906 г. Партии демократических реформ, депутат 1-й и 2-й Государственной Думы. С 1919 г. в эмиграции.
Алексинский Григорий Алексеевич (1879—1967) — публицист, депутат 2-й Государственной Думы от большевистского крыла социал-демократической фракции. В эмиграции с 1919 г.
- с. 76 *Спрашивал Г. ...* — Имеется в виду историк литературы *Михаил Осипович Гершензон* (1869—1925).
«Уроди нам, Боже, хлеб...» — А. В. Кольцов. Песня пахаря (1831).

П. М. Пильский

В. В. РОЗАНОВ

Впервые: *Пильский П.* Затуманившийся мир. Рига: Грамату драугс, 1929. С. 99–108. Печатается по этой публикации.

Пильский Петр Моисеевич (1879–1941) — критик, беллетрист. В 1926 г. эмигрировал в Латвию.

...«радения» у поэта Минского... — В ночь со 2 на 3 мая 1905 г. в Петербурге с. 110
на Английской набережной, в квартире *Николая Максимовича Минского* (Виленина; 1855–1937), произошла имитация древнего языческого ритуала «причащения кровью». По воспоминаниям Розанова, принимавшего участие в действе, было человек 30–40. Он пришел со своей падчерицей А. М. Бутягиной, приведшей с собой молодого человека Б. Зака, блондина-еврея, студента консерватории. После ритуальных приготовлений Вяч. Иванов и его жена Л. Зиновьева-Аннибал сделали надрез на руке Зака и все «причастились», смешав кровь с вином. Закончилось все братским целованием. Из участников Религиозно-философского кружка не присутствовали только Мережковские и Д. В. Филосовы, ездившие тогда в Крым.

...заразился сыпным тифом и умер. — Василий, сын Розанова, умер 9 ок- с. 111
тября 1918 г. в Курске от испанки.

М. М. Спасовский

В. В. РОЗАНОВ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Среди неопубликованных писем и рукописей

Впервые: *Спасовский М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. Берлин: Русское национальное изд-во, <1939>. 84 с. Печатается по второму изданию этой книги — исправленному и значительно дополненному (Нью-Йорк: Всеславянское изд-во, 1968. 172 с.).

Спасовский Михаил Михайлович (1890–1971) — издатель и редактор студенческого литературно-художественного журнала «Вешние Воды» (СПб./Пг., 1914–1917, с 1913 г.), друг Розанова, печатавшегося в этом молодежном журнале. Наряду с положительными рецензиями в русском зарубежье, о которых речь идет в Предисловии ко 2-му изданию, после первого издания книги в парижских «Современных Записках» (1939, № 69) появилась отрицательная рецензия З. Гиппиус (под псевдонимом Антон Крайний), в которой говорится об «искаженном образе одного из гениальных наших мыслителей» (*Гиппиус З. Н.* Арифметика любви: Неизданная проза 1931–1939 годов. СПб., 2003. С. 569).

...выпущенные Розановым в 1905–6 годах в Париже... — Ошибка автора. В с. 121
1906 г. в Париже вышла книга Розанова «Русская церковь и другие ста-

- тъи». Книга «Когда начальство ушло... 1905—1906 гг.» вышла в Петербурге в 1910 г., а «Люди лунного света» — в 1911 г.
- с. 123 ...*Андреев умер в конце 1919 года...* — Музыкант, исполнитель на балалайке, организатор и руководитель первого оркестра русских народных инструментов, впоследствии Великолукского оркестра, *Василий Васильевич Андреев* умер 26 декабря 1918 года на 58-м году жизни.
- с. 134 ...*погиб под поездом...* — см. выше коммент. к статье П. Пильского. *С пегальным праздником.* — Пасха в 1918 г. приходилась на 22 апреля (5 мая).
- с. 156 ...*погружая мысль в какой-то смутный сон...* — М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).
О революции — приведены записи Розанова не из второго, а из первого короба «Опавших листьев».

Н. А. Бердяев
САМОПОЗНАНИЕ
 <фрагмент>

Впервые: *Бердяев Н. А. Самопознание* (Опыт философской автобиографии). Париж: YMCA-Press, 1949. С. 158—160. Печатается по этому изданию.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ, публицист. В 1922 г. выслан за границу. В 1904 г. встречался с Розановым в редакции журнала «Новый Путь», позднее полемизировал с ним в Религиозно-философском обществе.

- с. 186 ...*Розанов написал четырнадцать статей.* — Библиографию статей Розанова о Бердяеве см. в кн.: Н. А. Бердяев: Pro et contra. СПб., 1994. С. 568.
- с. 187 ...*на первом собрании я прогел доклад «Христос и мир»...* — Доклад Бердяева был прочитан 12 декабря 1907 г. на третьем заседании Религиозно-философского общества, а доклад Розанова «Об Иисусе Сладчайшем и горьких плодах мира» — 21 ноября 1907 г. на втором заседании Общества.
- Лидия* — жена Бердяева Лидия Юдифовна (ум. 1945).

А. Н. Бенуа
КРУЖОК МЕРЕЖКОВСКИХ. В. В. РОЗАНОВ

Впервые: *Бенуа А. Н. Жизнь художника: Воспоминания*: В 2 т. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. Т. 2. Печатается по кн.: *Бенуа А. Н. Мои воспоминания*. 2-е изд. М.: Наука, 1990. Т. 2. С. 288—296.

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — художник, историк искусства. Розанов познакомился с ним в редакции журнала «Мир Искусства», бывал у него дома. Их тесное общение продолжалось до закрытия

журнала в 1904 г. В 1926 г. Бенуа не вернулся из Парижа, куда ездил в командировку от Эрмитажа.

Висенька — *Виктор Петрович Протейкинский* (ум. 1915), участник «Мира Искусства», Религиозно-философских собраний, «воскресений» в доме Розанова и Религиозно-философского общества. с. 190

Свидетельство об этом я нашел... — Очевидно, Бенуа имел в виду предсмертные письма Розанова с упоминанием «благородного Саши Бенуа», печатавшиеся в «Вестнике Литературы» (1919. № 5. С. 8; № 8. С. 14), в «Летописи Дома литераторов» (1922. № 8/9. С. 5) и в книжке «Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху» (Берлин, 1922. С. 79). Дружба Розанова с Бенуа была прервана длительными периодами жизни Бенуа за границей. с. 197

Леонардо. — Имеется в виду роман Д. С. Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1900).

В. Р. Ховин

РОЗАНОВ УМЕР

Впервые: Книжный угол. Пг., 1919. № 6. С. 4—6.

Ховин Виктор Романович (1891—1943) — писатель, издатель, друг Розанова. С 1922 г. — в эмиграции. Издал в Париже «Уединенное» (1928).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аввакум, прот. 60
Август 158, 161
Августин, блаж. 130
Авив 86
Авраам 29
Аврелий Марк 151
Агриппа 158
Адамович Г. В. 7, 8, 60, 206
Адонис 176
Аксенов 146
Аларих 174
Александр Великий 159
Александр II 168, 169
Александр III 173
Александра Федоровна 59
Алексинские 71
Алексинский Г. А. 206
Альфред Великий 176
Анастасия Николаевна 52
Андреев В. В. 122, 123, 125, 126, 140, 208
Андреев Л. Н. 62, 76, 77
Андреевский С. А. 54
Антоний, еп. 43
Антоний, митр. 18, 19, 25, 188, 189, 203
Антонин, архим. 21, 191, 192, 203
Антонов, свящ. 76
Аполлон 159
Аракчеев А. А. 169, 170
Арий 152
Аристид 173
Арнольдов Л. В. 163, 164
Арсинья 157
Арцыбашев М. П. 77
Афина 160
Афонька — см. *Васильев А. В.*
Ахилл 157

Бабелон 151
Байрон Д. Н. Г. 97

Бакст Л. С. 14, 188, 189, 194, 203
Бакунин М. А. 168
Башмаков А. А. 203
Бейлис М. 44, 45, 62, 205
Беккер К. Г. 158, 159
Белинские 168
Белинский В. Г. 167, 168
Белкин А. К. 149
Белый А. 9, 38, 54
Бенуа А. Н. 9, 10, 188, 203, 208, 209
Бердяев Н. А. 5, 10, 38, 85, 94, 119, 120, 186, 205, 208
Бердяева Л. Ю. 110, 187, 208
Благосветлов Г. Е. 75
Блок А. А. 31, 54—56, 58, 193
Боклишко (Бокль Г. Т.) 174
Брешковская Е. К. 75
Брюсов В. Я. 31, 33, 54—56, 204
Будда 175
Булгаков С. Н. 38
Буренин В. П. 140
Бурнакин А. А. 125, 133
Бутковский-Глинка А. П. 155, 157
Бутягина А. М. 207

Ваал 157
Варвара Дмитриевна 23, 28, 33, 34, 46, 85, 111, 204
Варварин (псевд. Розанова) 62, 204
Василевский И. М. (псевд. Не-Буква) 22
Василий, свят. 130
Василий, сын Розанова В. А. 46—47, 111, 143, 195, 207
Васильев А. В. 69, 206
Вейнберг П. И. 54
Вереника 157
Виардо П. 88
Вилькина Л. 38, 204
Висенька. — см. Протейкинский В. П. 190, 209



Вольтер 104, 105
Вольф М. О. 153
Врубель М. А. 125
Вырубова А. А. 59

Гамсун К. 85, 87
Гауптман Г. 170
Гаррис — см. *Каллаш М. А.*
Гарун-аль-Рашид 150
Генрих УШ 177
Геракл 159
Герцен А. И. 74, 104, 168
Герцены 168
Гершензон М. О. 57, 76, 206
Гиль Х. Х. 154, 157
Гиппиус З. Н. 5, 6, 9, 11, 53–59, 106,
110, 119, 164, 193, 196, 202–205, 207
Глазунов А. К. 123
Гоголь Н. В. 19, 119, 136, 151, 171, 204
Голлербах Э. Ф. 132, 142–146, 164,
185, 205
Горбунов И. И. 54
Горький А. М. 47–49, 56, 57, 71, 137,
205, 206
Грибовский В. М. 125
Григорий Богослов 130
Григорович Д. В. 54
Иоанн Грозный 174, 177
Грот Я. К. 155
Гурий 86
Гус Я. 98
Гутков Е. А. 164

Дарвинишко (Дарвин Ч. Р.) 174
Державин Г. Р. 170
Джойс Д. 115
Достоевский Ф. М. 10, 18, 23, 33, 85,
95, 111, 119, 129, 130, 184, 204
Дягилев С. П. 14, 21, 188, 196, 202

Егоров Е. А. 21, 31, 33, 203
Елизавета I 177
Ермилов 108
Ефим Е. — см. *Егоров Е. А.*

Желябов А. И. 75, 167–168
Жид А. 55
Жуковский В. А. 136

Зайцев В. А. 75
Зак Б. 207
Зеньковский В. В. 6, 7
Зернов Н. М. 10

Зиновьева-Аннибал Л. 207
Златовратский Н. Н. 70

Иаир 83
Иванов А. А. 125
Иванов Вяч. И. 31, 37, 54, 110, 204,
207
Ивасюк Ю. П. 10
Ингова 159
Иероним Пражский 98
Израиль 80
Иловайский 153, 158, 161, 174
Ильин В. Н. 6
Ильин И. А. 9
Иоанн П Добрый 177
Иоанн Златоуст 130
Иоанны 169
Иов 82, 83

Казанский П. Е. 125
Каин 173
Каллаш М. А. 9, 64, 206
Карамазов Ф. П. 10, 186
Карл Великий 176
Карл I 176, 177
Карл IV 177
Карл IX 177
Карташев А. В. 19, 31, 42, 203
Катилина 74
Катков М. Н. 137
Кимон 173
Клейнмихель П. А. 168–170
Ковалевский П. И. 125, 140
Кольцов А. В. 206
Константин, архим. 178
Константин I 176
Константин Хлор 158, 160
Конт О. 73, 172
Конт-Спенсер 73
Конфуций 175
Короленко В. Г. 74
Крайний Антон — см. *Гиппиус З. Н.*
Кривошеин 133
Кромвель О. 173
Кропоткин П. А. 74
Кудрявцев П. Н. 151
Кузьмин-Караваев К. К. 71, 206
Кузьмины-Караваевы 71
Куприн А. И. 137
Курбский А. М. 177
Курдюмов М. А. — см. *Каллаш М. А.*
Курциус Э. 155
Кюнер 150

Ламартин А. 57, 97
Лев Великий 130
Леонардо да Винчи 196, 197, 209
Леонтьев К. Н. 70, 103, 119, 137
Лермонтов М. Ю. 18, 136, 156, 157, 203, 208

Ливия 158

Лия 93

Луи Филипп 176

Луначарский А. В. 52

Людовик XVI 176

Люттер М. 8, 98, 130

Люцифер 173

Майков А. Н. 54

Мандельштам Ю. 113

Марков А. К. 150–154, 160

Марков-2 Н. Е. 163

Меньшиков М. О. 47, 125

Мережковские 5, 188, 189, 192, 195, 207

Мережковский Д. С. 5, 25, 31, 189, 191–193, 197, 202–204, 209

Меттерних К. 97

Микеланджело 196

Минский Н. М. 25, 37, 54, 110, 188, 189, 204, 207

Mionnet 155, 157

Мирский Д. П. 6

Михаил, архим. 36

Михайлов 170

Михайловский Н. К. 170

Моммзен Т. 155, 158, 161

Мордвинова В. 125, 128–130

Морозова 76

Мочульский К. В. 8

Мурахина Л. 132, 144

Мурахина-Аксенова Л. 146

Мурахины-Аксеновы 144

Мурахины 145

Набоков В. Д. 203

Наполеон I 138, 169

Немирович-Данченко В. И. 203

Никодим, отец 22

Николай II 59

Николай, отец 22

Николай Мирликийский 130, 151, 152, 154

Нувель В. Ф. 14, 188, 193, 203

Нурок А. П. 14, 204

Одиссей 158

Озирис 187

Орешников А. В. 149, 150

Ормузд 157

Орфей 149

Оттон 176

Оцуп Н. А. 8

Павел I 174

Пан 156

Панаева Е. В. 196

Паскаль Б. 135

Передонов 76

Перикл 153, 173, 174

Перовская С. Л. 75

Перцов П. П. 14, 30–33, 36, 117, 152, 188, 192, 193, 196, 202

Пикассо П. 6

Пильский П. М. 106, 207, 208

Пирожков М. В. 30, 174, 204

Писарев Д. И. 75

Платон 72, 104, 136

Плещеев А. Н. 54

Победоносцев К. П. 18, 36, 203

Полонский Я. П. 54

Посейдон 160

Пруст М. 115

Пушкин А. С. 75, 97, 136, 151, 170, 202

Пяст В. 31

Радищев А. Н. 168

Распутин Г. Е. 6, 21, 164

Рафаэль 196

Рахиль 93

Реклю Ж. Ж. Э. 74

Рембрандт 196

Рем 158

Ремизов А. М. 5, 6, 108, 110, 119, 164

Ренан Ж. Э. 174, 178

Ренников А. М. 113, 114

Репин И. Е. 115

Рерих Н. К. 124

Ретовский О. Ф. 154, 156

Ричард II Плантагенет 177

Розанова В. В. 45–46, 205

Розанова Н. В. 67, 206

Ромул 158

Руссо Ж. Ж. 104, 159

Самон 86

Сапатрок 152

Северянин И. 54

Семенов Л. Д. 31



Септимий Север 150, 151
Серафим, преп. 97, 99, 101
Сервантес С. М. де 144, 174
Сергий, архим. 18
Сергий, преп. 52
Сергий Финляндский 18, 25
Серебряков А. М. 74
Скворцов В. М. 18, 19
Смердяков 76
Соболевский А. И. 125
Сократ 196
Соловьев В. С. 6, 30, 31, 76, 151, 154, 157, 187
Сологуб Ф. К. 13, 15, 31, 54, 58, 59, 108, 203
Солоневич И. 126
Сольси де 151
София, свят. 116
Спасовский М. М. 9, 112, 113, 142, 143, 164, 168, 207
Спенсер Г. 73, 172, 174
Спенсеришко (Спенсер Г.) 175
Струве П. Б. 41, 75, 167, 168, 204
Суворин А. С. 16, 43, 54, 117, 203
Суворин М. А. 126
Суворины 126
Сувчинский П. 7
Суламифь 62
Сусанин И. 169
Суслова-Розанова А. П. 22–24, 204
Тернавцев В. А. 20, 21, 23, 28, 32, 33, 188, 189, 191, 196, 203
Тирезий 158
Толстой А. Н. 22, 203
Толстой Д. А. 150, 151, 153
Толстой Л. Н. 6, 7, 54, 74, 101, 102, 129, 130
Тригони М. Н. 170
Трубецкой Е. Н. 205
Тургенев И. С. 85, 87, 88
Тэффи Н. А. 6
Успенский В. В. 31
Устьянский А. П. 20, 125
Фаустина 151, 152
Федотов Г. П. 8
Фемистокл 173
Федор Иоаннович 177
Феодосий II 176

Феофан, архиеп. 21, 120
Фердинанд I 176
Фигнер В. Н. 75
Филарет Киевский 136
Филарет Московский. митр. 129, 136, 178
Филипп Македонский 159
Филипп, свят. 177
Философов Д. В. 13, 14, 188, 189, 192, 196, 203, 207
Флоренский П. А. 10, 43, 44, 46, 50, 52, 83, 102, 116, 132, 135, 136, 143, 145–147, 149, 160, 205
Флоровский Г. В. 9
Фома 102
Франциск I 177
Фридрих Вильгельм IV 176
Ховин В. Р. 48, 199, 205, 209
Ходасевич В. Ф. 53, 205
Христиан II 177
Цезарь 158, 173
Цеппелины 144
Цветков С. А. 76
Цыбульский 153, 154, 156
Чернышевский Н. Г. 167, 174
Чехов А. П. 16, 54, 108
Чуковский К. И. 203
Чулков Г. И. 108

Шаляпин Ф. И. 123
Шекспир У. 170, 174
Шестов Л. 5, 8, 62, 113, 188
Шиллер И. Ф. 170
Шишкины 86
Шперк Ф. Э. 13, 69, 82, 83, 206
Штраус Д. Ф. 174, 178

Эдуард Исповедник 174
Эллис (Кобылинский Л. Л.) 28, 204
Элогим, Элохим 159, 160
Эрн В. Ф. 205

Юлия 158
Юнона 160
Юпитер 159
Ющинский А. 44

Яков II 176

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Н. Николюкин. Русское зарубежье и Василий Розанов</i>	5
<i>З. Н. Гиппиус. Задумчивый странник. О Розанове</i>	11
Часть первая	
1. Василий Васильевич Розанов	11
2. Весной	13
3. Всегда наедине	14
4. Наименее рожденный	15
5. Духовные отцы	17
6. Усердный еретик	20
7. Собрания	21
8. Тяжелая старуха	22
9. Пустота вокруг	25
10. О любви	26
11. «В своем углу»	30
12. Буду верен в любви	33
Часть вторая	
1. Душа озябла	36
2. В чужом монастыре	40
3. Какие «да»! Какие «нет»!	42
4. Мне все можно	43
5. Мелькнули дни... ..	45
6. Ледяные воды	46
7. Слова любви	50
<i>В. Ф. Ходасевич. З. Н. Гиппиус. «Живые лица»</i>	53
<i>Г. В. Адамович. <«Апокалипсис нашего времени» В. Розанова></i>	60
<i>М. Курдюмов (М. А. Каллаш). О Розанове</i>	64
<i>П. Пильский. В. В. Розанов</i>	106
<i>М. М. Спасовский. В. В. Розанов в последние годы своей жизни.</i>	
Среди неопубликованных писем и рукописей	112
От издательства	112
Предисловие ко 2-му изданию	112
1. Кто такой Розанов? — Захудалый мещанин, педагог, журна-	
лист — гениальный литератор, мыслитель и провидец. —	

Отношение к нему «левых» и «правых». — Почему называют Розанова «путаным»	114
2. Мое знакомство с Розановым через В. В. Андреева — основателя и дирижера Великорусского оркестра. — Журнал «Вешние Воды». — Розанов редактирует в нем отдел «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества»	122
3. Примечания Розанова к студенческим письмам. — Характер и значение примечаний	128
4. Письма Розанова от 1918 года. — Жизнь Розанова в Сергиевом Посаде — нищета и голод. — Характеристика о Павла Флоренского. — Нигде не опубликованные статьи Розанова: «Рассыпавшиеся Чичиковы» о мертвых душах российских времен Государственной Думы). — «С печальным праздником» (Св. Пасха 1918 года). — Студенческие сборники и передовицы Розанова. — Характеристика Розановым Э. Ф. Голлербаха, Любви Мурахиной и о Павла Флоренского	132
5. Монография Розанова «Об античных монетах». — «Как и почему пришло на ум собирать древние монеты». — Осязание монеты историческим взглядом. — Археология. Нумизматика. История.	147
6. Мимоходом о себе	162
7. Многогранность розановского мировосприятия: «О нашей общественности». — «О российской демократии». — «О революции». — «О православном царе». — «О подразумеваемом смысле нашей монархии». — «О Церкви». — «О евреях»	165
8. Критики Розанова. — Христианская кончина Розанова.	181
<i>Н. А. Бердяев.</i> Самопознание <фрагмент>	186
<i>А. Н. Бенуа.</i> Кружок Мережковских. В. В. Розанов	188
<i>В. Р. Ховин.</i> Розанов умер	199
Комментарии	202
Указатель имен	210

НАСТОЯЩАЯ МАГИЯ СЛОВА

**В. В. Розанов в литературе
русского зарубежья**

Составление, предисловие и комментарии
А. Н. Николюкина

Корректор: *Т. Л. Самсонова*
Верстка: *С. В. Степанов*
Художественное оформление: *С. А. Гаврилова*

Подписано в печать 28.12.06. Формат 60 × 88 ¹/₁₆.
Бум. офсетная. Гарнитура Ostava. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 13,50. Тираж 2000 экз.
Зак. № 994

ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostok_publish@front.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: (812) 323-54-70

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП Типография «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.

**В серии
«Неизвестный XX век»
вышли книги:**

Гиппиус З. Н. Мечты и кошмар. 1920-1925 гг.

Гиппиус З. Н. Чего не было и что было. 1926-1930 гг.

Гиппиус З. Н. Арифметика любви. 1930-1939 гг.

Трехтомник включает полное собрание прозы эмигрантского периода, собранное по архивам Парижа, Праги, Таллина. 65 новых рассказов, 2 романа, воспоминания о современниках, публицистика и очерки. Издание снабжено комментариями, указателями.

Клюев Н. А. Словесное древо.

Впервые с возможной полнотой представлены прозаические произведения Клюева, написанные им с 1907 по 1937 гг.

Пришвин М. М. Цвет и крест.

В книге собраны газетные очерки 1917-1918 гг. и не переиздававшиеся художественные и публицистические произведения 1906-1924 гг. Проза, наполненная раздумьями о судьбе страны и народной стихии, о радикальной ломке традиций, создает новый образ известного писателя.

Поэты пражского «Скита». Стихи.

На основе архивов Праги, Москвы, Санкт-Петербурга и эмигрантской периодики впервые широко представлено творчество русского эмигрантского объединения «Скит», существовавшего в Праге с 1922 по 1940 гг.

Поэты пражского «Скита». Проза.

Сборник включает прозу, дневники, воспоминания, драматургию, публицистику известных поэтов. Публикуется впервые.

В своей жизни, в своих книгах, чувствованиях, в своих тайных притяжениях, в своей необыденности перед нашим взором прошел интереснейший и замечательный человек любопытной и замечательной эпохи. Но и ей он принадлежал только частично, ибо своей гениальностью, своей редкой, исключительной оригинальностью он отдан не времени, а временам, не одному поколению, а будущему.

Это был человек, не имевший в мире двойника.

П. М. Пильский



ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ:

Поэты пражского «Скита»

Проза

Дневники

Письма

Воспоминания

